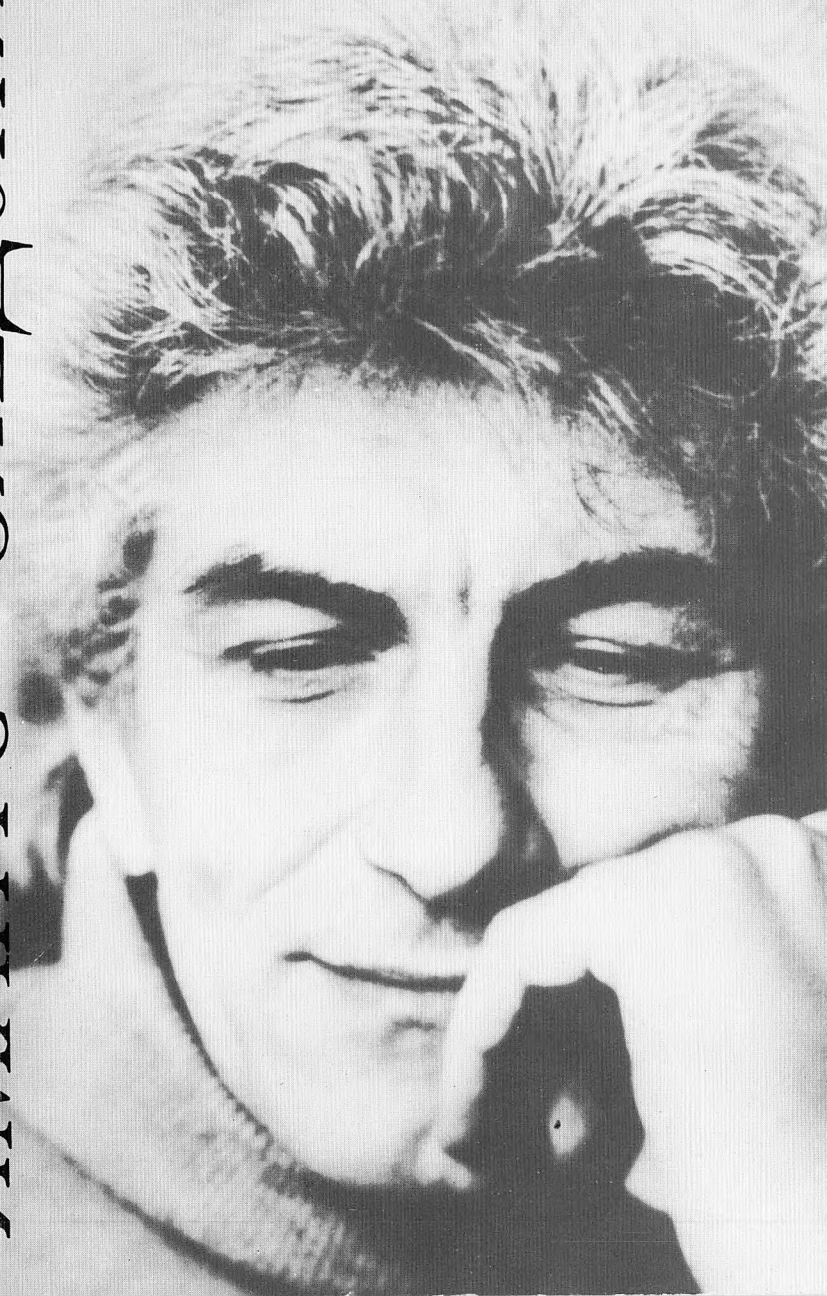
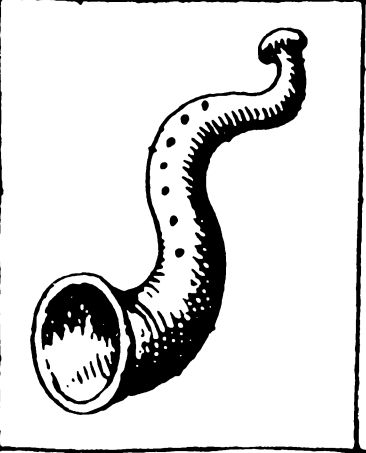
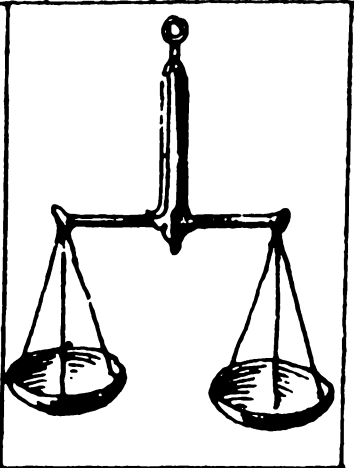
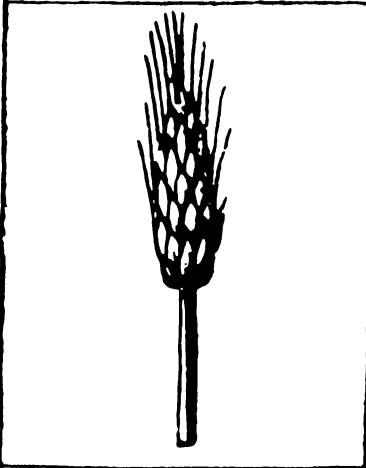


...обе двери открыты...

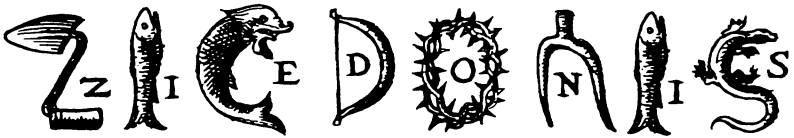
ИМАНТС ЗИЕДОНИС

ИМАНТС ЗИЕДОНИС





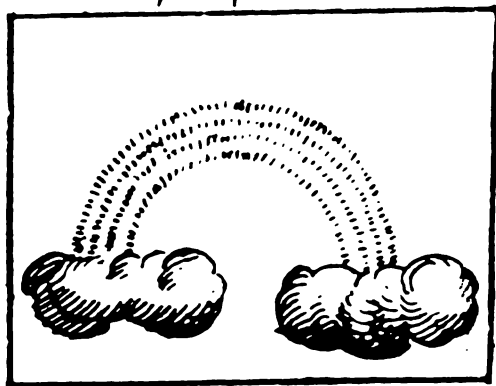
*Имантс
Зиедонис*



...обе двери открыты...



Имантс
ЗИЕДОНИС



...обе двери открыты...

Стихи и поэмы

Перевод с латышского

Москва
Советский писатель
1990

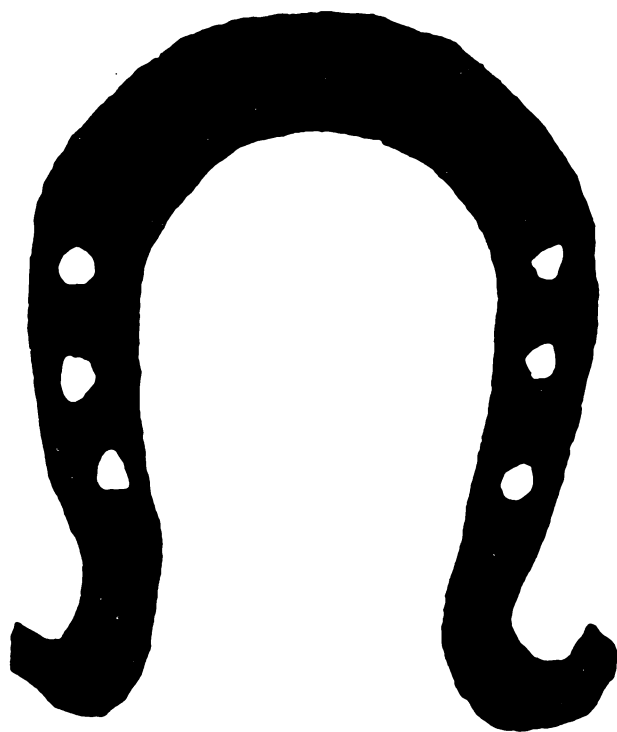
ББК 84 Лар 7
3-59

Художник
ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ

4702370202—310
3 $\frac{\quad}{083(02)—90}$ 322—89

ISBN 5—265—00818—7

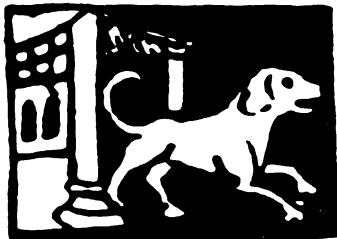
© *Перевод на русский язык.*
Издательство «Советский писатель», 1990



Стихотворения



Переводы Давида Самойлова



* * *

Глянь, обе двери открыты.
И вот незамкнутость пола.

Точка с конца предложенья
лезет вперед глагола.

Фраза стала свободна,
делай с ней что угодно.

Оговориться, исправить
и без конца оставить.

Даже укус змеиный
может быть не смертелен.

Кого-то хотели ухлопать,
а тот целехонек-целен.

Коль прет на рожон точка,
нас может прибрать всевышний.

У ягод вон точка в середке,
как, например, у вишни.

●

* * *

Настырно, слишком навязчиво —
Талдычить дотошно и точно.
Глянь, неприметно и тихо
Снегом покрылась почва.

Глянь, незаметно и тихо
Матушка поседела.
Глянь, без всякого шума
Вишня в цветенье взлетела.

Глянь, незаметно вышло
То, чего нет в достатке.
Светят теплые окна
Нашей хромой лошадке.

Зря говорить не стоит,
Кто про это услышит!
Глянь, как цветок на стебле
Сам об этом пишет.



* * *

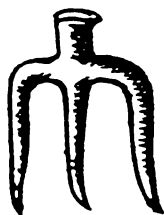
Начинается все со строки,
вот ведет и присутствовать просит
там, где ветер, взлетев со стрехи,
журавля над колодцем возносит.

Вишь, подводит тебя к деревьям
(что взлетают под небо, как копны,
где пчелиные игры и гам),
чтоб увидел, как листья подробны.

Погляди-ка, с песчинки в глазу
начинается, с листика кроны,
а потом уже россыпь несущу,
начинаю считать на миллионы.

Начинается вроде с меня —
не могу разъяснить себе толком,—
но ворота открыты, маня,
и выпихивают прямо к толпам.

Вот ведь как: начинаю с цветка,
а потом уже счета не помню;
ведь сквозь пальцы — пустыни песка...
И текут, и никак не наполню.



* * *

Оказывается, что чудо
во мне сидело;
моим дыханьем
оно владело.

Оно в себя лишь половину
меня вместило,
которая не уставала
и не грустила.

Но и из этой половины
взяло лишь малость,
которая жила,
кипела,
переливалась.

Да и от малости от этой —
один лишь миг.
И это миг,
когда ты светел
и велик.

Не миг войны,
где пламя и полон,
не миг резни
и гибели племен.

Но миг такой, сказал я,
был: про зданье,
про зданье белое,
про созиданье.

Скажу: он краток был, как ветра
дуновенье,
и было в нем времен не наших
прикосновенье.

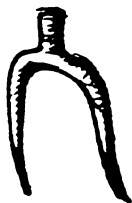


* * *

Мы утверждались тяжело, с трудом,
в нас нет готовности поддаться силе роста.
Как та же тыква, что лежит, не оторвется,
кряхтя и охая, с набитым животом.

Но ветер тоже нам башку не оторвет,
как одуванчикам с головками на вате.
Все ждем, что кто-то к нам придет и призовет,
прошепчет на ухо: «Готовьтесь. И вставайте!»

Ан нет! Готовиться? Вот это не пройдет!
Нам только нужно знать о том, что будет дале.
Вдруг что-то малое вокруг произойдет.
А мы уже поднялись. Или уже упали.
Ишь ты, как паучок, по воздуху несешь
златистый волосок из незаметной сети,
люблю ту легкость, что дается ни за грош,
люблю я чудеса на этом белом свете,—
и вот ни черенка и ни подвески нет,
ни связок, ни опор, ни даже пуповины;
пух одуванчика — так мы летим в простор
и в мир несут нас
словно две лавины.



* * *

Только промолвишь «живой»,
а от него — пшик!
Скажешь: «сторожевой»,
а от него — штык.

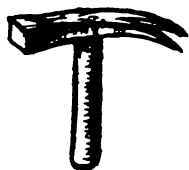
Просто — названья вещей
это битая карта.
Глянь, а он уж НИЧЕЙ.
О Магдалина, о Марта!

КАМЕНЬ над ямою встал.
Смотрят, дивятся, судачат.
Не говори «пропал»!
Слово не много значит.

Ах, да какие там муки!
Как хочешь, так и скажи.
Лучше прохладные руки
мне на лоб положи.

Есть такие слова —
в двадцать четыре слоя.
За воротами — трава,
на ней стариков трое.

Смотрят, молчат, глядят:
слово уже вполроста.
Могут сказать, как и мы,
и промолчат просто.



С той и с другой стороны

Вот совместить бы
несовместимость:
разные вещи,
как бы свести вас!

На сеновале
в старое сено
день послезавтрашний
вмять по колено.

Чтоб в той же цепи
сомкнулись прочно
смерть и рожденье
с дверным звончком.

Не во вчерашних
и не в грядущих...
Пусть два потока,
в меня идущих,

во мне сомкнутся,
соединятся,
ведь больше нету
куда податься:

свет золотистый,
свет двусторонний,
а ты единый,
единородный.



* * *

О боже, упаси меня от графоманства!
Вишь, каждая строка влечет меня в пространство,
отъединяя рифмой от ствола.

Как вольно пляшут на моем горбу слова,
стихия речи, старая трещотка.
И старой рвани происходит штопка.
Хоть мысль в уме, хоть что-нибудь в душе.
Все болтано-заболтано уже.



* * *

Квадратен пес!
Квадратно лает он.
И как он с круглым миром сопряжен!

А может быть, вписались, как лицо,
В желток квадратный месяц и яйцо?

Квадратны зеркало, румяна, ваза
И череп. Явна квадратура глаза.
А звезды! Сколько в них ни ищем внятности,
Томимся за углами их квадратности.

Но вдруг мотыга падает из рук.
И выпадает меч, как острый угол.
И воздух округлился. Он округл.
И нет углов. Одно лишь солнце. Круг.



* * *

Стыжусь, что жизни я не знаю,
Что, как иные, не речист,
Что подлинная речь мужская
Не лезет в мой бумажный лист.

И непонятна мне собака,
И непонятен мне металл.

А дать бы для людского блага
Хоть что-то! Я бы вас спасал

От войн, веществ, от идиотов,
От пьяных страждущих людей.
Но свет мне видится в высотах,
Едва услышу лебедей.

Он сплачивается, пылая.
Родится новый алфавит.
И затихает боль былая —
Жизненепониманья стыд.



* * *

Благодарю тебя за очи.
Вон новый год бредет по ночи,
и только крыши полны снега,
и, вишь, посередине неба
душа на ниточке висит.

Ничто мне не принадлежит.

Не надо лезть или стараться,
гораздо легче отказаться
от сапога, что носят, или
от подоконника и пыли.

Ни зова, ни прикосновенья,
весь день покой, отдохновенье.

Ах, нет надежды, в небе тучи.
Но быть ничьим намного лучше.
Ничьим, нигде! Как ткань льняная,
отбеливаюсь, вспоминая.

И я вхожу в ночную заметь,
и о тебе теряю память.

Ни бел, ни черен я хожу.
Ведь я вам не принадлежу.



* * *

Иду с белым флагом капитуляции.
Если хотят, пускай стреляют.
Я так могу, не нужны оvationи,
Моя гордость мне так позволяет.

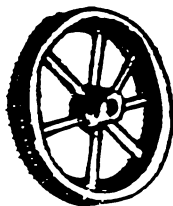
Я, право же, весь могу сдаться,
Я не хочу проливать кровь.
Я годами иду и, может статься,
Буду идти все вновь и вновь.

Вторая и третья смерти мимо,
Ничто не держит меня в пути.
Уже не свистят ни пуля, ни мина —
Дают идти.

Может, больше уже не раздастся
Сигнал атаки с обеих сторон.
Желаю безоговорочно сдаться,
Берите меня в полон!

Скоро уже замирятся два стана,
Победу воспоют в унисон.
Но победителем я не стану,
В списки павших не буду внесен.

Иду с весельем. И к тому же я
Несу свой флаг — и вся недолга.
И некому мне сдавать оружие —
На этой войне нету врага.



* * *

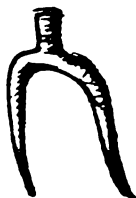
Ишь, снова болит, среди множества чувств
предчувствие смерти живет в этой боли.
Ишь, девочка влезла на вишенный куст,
и ягод полно в горстях и в подоле.

И так это ноет, так это жжет,
что сердце от боли галопом несется.
Но девочка, ишь, из моря встает
и рядом лежит, не прячась от солнца.

Все надо терпеть, хотя обожгло
и, кажется, это тебя изувечит.
Но все, что на девочке,— к ней прилегло,
она, словно дрозд, беспечно лепечет.

И, может быть, зря ты, сердце, свербишь!
Вон солнышко тащит старую тучу.
А девочка смехом рассыпалась: «Ишь,
пусть света не застит, вали ее в кучу!»

Болит. Но гляди, как ветки вон там
полны голосов, и вишен, и дрожи.
И девочка мне говорит: «Не отдам,
тебя не отдам я тоже».



* * *

Утро вечера, мол, мудренее.
Не надейтесь же — не мудреней!
Коль держаться эдакой идеи,
Будешь ли счастливее при ней?

Совершайте нынче — вот критерий,
Не откладывайте на потом.
Тут и завтра постучится в двери,
Беззаботное войдет к вам в дом.

Будь сегодняшним без отлагательств!
А вчера и завтра не спасут.
И цветы, на похвальбу не тратясь,
Не ссылаясь на грядущий суд.

Вот учу вас, ну а сам-то, сам-то...
Вон как пахнет на гряде табак!
Ну а я все жду чего-то завтра,
Дескать, лучше будет и не так.

Пусть на завтра день взойдет над пущей
И прекрасно отгорит закат.
Но момент сегодня был упущен
И напрасно выпущен заряд.

Ах, грядущее! Как соискатель
Или нищий ходит по пятам.
Я — сегодняшнего обитатель —
С добротой улыбаюсь вам.



* * *

Я полагал, что женщина одна.
Приидет час и снизойдет, как ангел...
Прошли года, и не настало дня,
И все идет согласно новых правил.

Теперь я полагал, что женщин две.
Вторая — дар, а та была мне лишней.
Но вот уже их две в моей судьбе,
Две женских жизни мне судил всевышний.

И в каждой что-то от эдема есть,
По золотому перышку от рая.
Но вот воспоминанья и болезнь
Уже велят склониться, угнетая.

Теперь уразумел, что женщин... три!
Ах, Ева, разделенная на части!
Разбросанные в небе три зари —
Из них одна мне суждена на счастье.

И вот, когда я три в одну сложил,
Мне стало мало этого. Взирая
На небо, я взмолился: «Заслужил
Я, может, большей щедрости от рая!»

И получил я четверть Евы, вот
Уж пятая ее идет навстречу.
Зеленый рай! Мне от его щедрот
Все меньше отдано. И я перечу!

И, вишь, уже миллиардная одна.
И я один стою, одномиллионный.
И воздух мира окружил меня.
О, где он, этот ангел окрыленный!

Я несколько миллионных сосчитал.
Грудь обдало горчайшею отравой.
Однажды я блаженство испытал,
Но где мой рай — не знаю, боже правый.



* * *

У тебя ледяные глаза.
Значит, будет морозно.
Я срифмую «глаза — бирюза»:
в повечерье темнеется поздно.

Но зачем причитает душа!
Смысла в этом дурачестве нету.
Жизнь! Она как смерть хороша.
Надо мне чеканить монету.

Надо мне чеканить деньгу.
Хватит быть чудаком!
Вот к тебе явлюсь и смогу
закупить целиком.

— Эй, хозяин, почем возьмешь
не за ту, вон за эту?
На которой старинная брошь.
На, бери за принцессу монету.

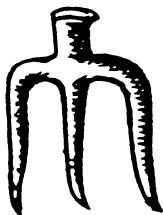
А глаза ледяные опять.
Кто бы мог по головке погладить?
Ведь тебе надо цепи ковать,
мне — монеты чеканить.



* * *

Я так тебя любил: неслышно, тихо, ясно,
так незаметно прикасался, что
на небе в этот год звезда погасла
и не заметил этого никто.

Вон этот камень здесь лежит почти незримо,
покрытый мхом и зеленью. Когда
пройдешь ты как-нибудь однажды мимо,
не ощутишь, что здесь лежит звезда.



* * *

Чуть ощущаемые туфли на ногах.
Чуть ощутимая прибавка грамма к тонне.
И ветер, что чуть-чуть скопился в облаках
И топит корабли, когда уже в разгоне.

И незаметно так разуть твои стопы.
И вновь тебя обуть! И тихо до рассвета
Беседовать с собой о странностях судьбы.
Чтоб, слава богу, ты не слышала про это.



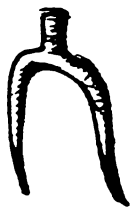
* * *

Клал бы печь — в нее вложил
всю свою любовь!
Как бы я тебя любил!
Дым-то ведь не кровь!

Выложил бы изразцом —
просто красота!
В топке пели б голоса
скрипки и альта.

Тяга, как одну к другой
тянет две судьбы.
Сверху купол голубой, —
дыма б из трубы!

И тогда хоть помирай,
если дым летит.
Если мы уже — дымок,
что нас разлучит!



* * *

Ах, с нежностью я думаю о Вас.
А там уж остальное Бог подаст.
Чем быть для Вас — брусничником под снегом
Иль ветряною мельницей под небом?

Я — блюдечко, где дух дает сеанс.
Могу быть календариком при Вас,
Где день-листочек может оторваться;
Но год за годом будет повторяться.

И не прикосновение, а знак.
И не вблизи я буду находиться.
Как ветка с инеем — хотите так,
Вот так я буду с Вами обходиться.

В дороге гололед. Опасный час.
Ах, с нежностью я думаю о Вас.



* * *

Право, что тебя, ворона.
Не желаешь ты кичиться.
Ведь алмазная корона
в черных перьях не таится.

Ты умеешь жить не ложно,
с честью собственной, вороньей.
При тебе и мне быть можно,
быть вольней и просветленней.

Этим трясогузкам хилым,
этим псевдосоловьишкам,
этим иволгам унылым —
все им мало, все не слишком.

Что за глупая надменность!
Я ж люблюсь неизменно,
как свою обыкновенность
ты несешь обыкновенно.



* * *

Нас зарежут на заре — слишком рано, мол, запел,
Тепленького, из постели, чтоб остынуть не успел.

На наше солнце, как на бабу в бане, поглядит мужик.
И женщина ощипывать с постели прибежит.

Зачем так много петухов предутренней порой!
Гляди, еще один запел — и голову долой!



* * *

Не унижайся до заразы, хвори,
не будь на «ты» с ней, не держи в фаворе.

Не унижайся до того, чтоб вирус
всю зиму разводил в сознание сырость.

Не то простишься с гордостью и силой
и станешь вдруг обиженный и сирий.

Почувствуешь себя земною дрянью,
обязанной чему-то вечной данью.

Неужто тем заразу удостоишь,
что, не сдержавшись, вдруг от боли взвоешь?

О семя недостойное!.. Но сжался:
нас не унизь и сам не унижайся!



* * *

Ночами вверх по скале
карабкаются корабли.
Там, наверху, в хибарке
спит старик капитан.

Мы, которые спим по ночам,
про это бы вовсе не знали,
если бы на якорной цепи
не зависло судно.

Утром было видно,
как между скальными зубцами
застрял якорь
и судно висит над фьордом.

Тогда-то мы поняли,
что ночами вверх по скале
к старому капитану
ползут корабли.



Переводы Юнны Мориц



* * *

Грянул выстрел в мое оконце.
Никого — только солнце ясное.
И я падаю в это солнце.
Из груди моей льется красное.

Грянул выстрел в мое оконце.
Застону ли, узнать желая.
Голова моя, улыбаясь, клонится.
И кровь на бинтах живая.

В окно мое грянул выстрел.
Всюду овцы и волчья стая.
Луг бескрайний цветами выстлан.
И кровь на бинтах живая.

Прекратить меня невозможно.
Здесь я, здесь я, как ток искристый.
Только звук этот — вдруг, ничтожно —
В окно мое грянул выстрел.



* * *

Извините, что живу я,
извините, что давно!
И простите, что плыву я,
извините, не на дно!

Виноват, что я не в стае,
что я грызться не могу!
Виноват, что заметаю
свой же след на берегу.



* * *

Оброс я, словно шерстью, пустяками —
Они хранят меня в ненастные деньки.
От злых людей, с глазами злыми, языками,
Мое великое скрывают пустяки.

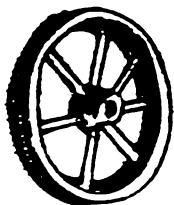
Такой пустяк: мой кончик носа с бородавкой.
Такой спасательный пустяк: всеобщий смех.
Но свой огонь за этой призрачной заставкой
Я на лучине убересть могу от всех.

Такой пустяк: застёжки, пуговицы, кнопки.
Пока все смотрят на мое проворство рук,
Я в глубине души веду раскопки,
Нет, вольной птицей выношу себя за скобки:
И кнопки сверху мне видны, и всё вокруг.

От пустяков мои топорщатся карманы,
От всякой чуши — да чего там только нет...
Я эту чушь люблю, как шерсть свою бараны,—
Не дует в душу, пустяками я согрет.

А все улыбки, все приветы и поклоны —
Мельчайшей мелочи великое число,
Пыльца мгновений, светотени шумной кроны
Большого дерева — со дна души росло.

Так слава пустякам! Я тем и занят,
Что вам даю их смаковать в течение дня.
Спасибо им за то, что взор туманят,
Вниманье отвлекая от меня.

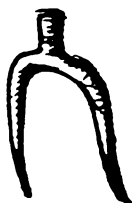


* * *

У камня подкладочка теплая,
в эту заутку
нырнул я и дальше потопаю,
я здесь на минутку.

Только согреюсь в камне
чутьочку, мигом —
и в путь, все равно куда мне,
скоком и прыгом.

Солнце и месяц — мимо...
Так сладко в камне,
когда он закрыт незримо
всеми замками.



* * *

Хотел бы я так обладать, приманить, привлечь...
Как дым исчезает синий — о том и речь.
Как ветви текут и плещут, произрастая.
Как снег идет — ничего не приобретая.

Ему ничего не надо — лишь белой тучей
Из тишины великой произрастая,
Пройти как снег. И кручей стоять текучей.
И все обрести — ничего не приобретая.



* * *

Небесные зерна последнего света
Еще набухают в квадрате оконном.
Нельзя поручиться, что именно это —
Сумерки в полном их смысле исконном.

Свет исчезающий — тоньше, бледнее,
Вытек до капли — но все еще здесь.
Мгновенье — и тьму отличать не сумею
От света, который ушел в нее весь.



* * *

И снова с крыш летит капель, звеня.
И пусть гадалка мне поможет снова.
Не верю я, что любит кто-нибудь меня.
За что, за что, за что любить такого?

О пытка! Пытка, смертная порой!
Не верю, я не верю никому, что я сверкаю.
Ведь я не дерево с нетронутой корой,
я весь разодран, и кора висит кусками.

Я вечер-мученик. И если нагадать
мне свежесть утреннюю, — это будет ложью.
Не верю в то, что я — рассвета благодать,
и что любим я, как роса, — не верю тоже.

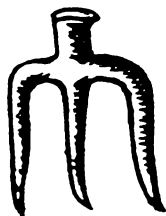


* * *

Что я за камень дурацкий!
Швырнули в окно чужое...
Теперь куда-то еще меня бросят
наверняка.

Что я за камень дурацкий!
В чужом кулаке опять я,
чужая злость и проклятья
сжали меня для броска.

И господи — нет языка! —
и выразить мне не дано,
как схватят меня и снова —
в чужое окно!..



* * *

Подметаю, клубится немножко —
ничего, кроме пыли скромной.
Тебя люблю я, как поле, где наша
картошка
с клубнями в глуби темной.

Окон около свет проживает,
солнце круглое дышит двубоко.
Я люблю — как страшно бывает
в подвалах твоих глубоких.

Детям ласточек — бог помогает,
ласка ласточек и доброта.
Знаешь, это ужасно —
я люблю твоего кота.



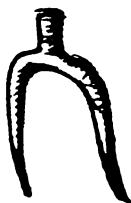
* * *

Прошу я прощенья.
Однако тебе ничего я простить не сумею.
Но зла не имею.
Нет, не нужны мне ни слезы твои, ни мученья.

Но там, где не поняли мы друг друга, отныне
Три серебрятся кустика сизой полыни.
Первый кустик срывает, в костер кидает
Путник в степи.

Ко второму бездомный пес подбегает
И на него пи-пи.

Но третий прикрыл почему-то я, боже мой,
Прикрыл, закутал, как розы в саду зимой.



Бабушка

Как цыпленок белый, копошилась, бегала.
Помню: пью из чашечки белой что-то белое.

Брат мой тоже просит белого напитка,
трепку получает, и ему обидно.

Три слезинки белые проливаю следом.
Жизнь пылит белая, как большак летом.

Тут и свадьбы скорые, да твой ли выбор, милая?
Три сирени белые у дома посадила я,
это — женихи мои, любовь моя белая.

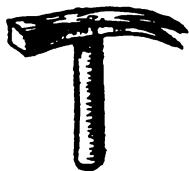
Листва такая желтая, зерно такое спелое.

Бессмертник в белом поле, конурки белой
тесность.
Наш папенька уходит к папеньке в небесность.

А около сирени постой тихонько малость,—
кажется, что жизнь моя и не начиналась,

деток не рожала земля, не боронована,
замуж не ходила, кольцами не скована,

а свет — такой белый, а жизнь — моя — целая,
пью из белой чашечки молоко белое.



* * *

Люди высокого роста более независимы.
Их головы как бы высунуты из некой реки бегущей,
И никак не соприкасается с их кислородными высями
наше пространство плотное
с его безвоздушной гущей.

И над этой плотностью плотской,
где именно все совершается,
где становится все даваемой и становится получаемой,
голова человека высокого независимо возвышается,
он как бы свободней,
выше низких чаяний и отчаяний.

Но дети, но как же дети, как же там дети, которые
заполняют наше пространство в самом низу,
в преисподней,
где вся эта вонь, отравы, кикиморы и моторы,
гонка и копошенья,— как там они сегодня —

спасаются? Вот высокий с ребенком
и с гордым видом,
его голова возвышается над человеческой гущей.
Он бодрее, он независимей, чем другой индивидуум,
плывет по улице, голову не окуная
в поток бегущий.

А за руку в преисподней, в этом зловонье ада,
где от грохота может лопнуть
барабанная перепонка,
бесчувственный, отрешенный, водит он до упаду —
как собственного невольника —
собственного ребенка.

Тихий такой ребенок. Папа — такая умница.
Глянь, какие чужие мы,— глянь, какие далекие!
.....

Я же не говорю вам, что по центральным улицам
на четвереньках ползать люди должны высокие.



* * *

Какие мы хладнокровные.
Какие мудрые и начитанные.
Как же горько
она опускает беззащитную.

Сестра моя, плакать не надо!
Шли тут какие-то мимо,
чем-то ее обидели,
горько, невыразимо.

Всем же известно заранее,
зла не держит моя сестрица.
Всем же видно, душа ее ранена
и готова слеза пролиться.

Черный кот у ног ее ластится,
тоже обиду прячет.
Все стоят
и ждут, что она заплачет.

Но зла не держу я тоже —
глянь, какие дурацкие рожи! —
и не гложет меня расплата,
только печаль горьковата.

Это опять какие-то
проходили ворот наших мимо

и цветок простодушный обидели
горько, невыразимо.



* * *

Кому ты нужен с этой вечной жалобой?
Иди ты к богу с этой вечной жалобой!

Тут все подряд неплохо стонут сами.
Вот если ты крылат — останься с нами.

Придай нам легкость, с какой способна птица
Парить, — и я способен распрямиться.

Кончай стонать! Мы счастливы во многом
В своем раю, в краю, скупом и строгом,

Где уповают и на твой могучий
Труд.
В противном случае — не появляйся тут.



* * *

как мы возникли
все таинственно
ветвиста мать моя и лиственна

а мой отец космат как леший
на корни — хоть планету вешай

а на заре поют сестренки
верхушки маленькие звонки

а братьям нет пощады в стужу
трещит кора — душа наружу

спасибо небу... ставлю точку
но чуть про негу то есть почку

про богом данную невесту
храни весна ее и пестуй

а мне в бересте нет износа
и сок березовый — из носа



Переводы Александра Кушнера



* * *

Сегодня праздник, праздник у меня,
Я как монах в канун святого дня.

Как крот в норе, я в бархате сплошном.
Кажусь себе счастливым королем.

Ах, пойте песню, ту, что только раз
На этом свете обласкает нас:

«Снег серокрылый у твоих ворот
Не повторит свой радужный полет».

Уходит свет, но тьма его слабей:
Меж тьмой и светом быть всего милей!

На темном — свет, а светлое — темно.
Не поднят меч, не выпито вино.

Счастливей миг, продлись в моей душе:
Еще не тьма, но и не свет уже.



* * *

Как выбираются листочки
на волю каждую весной!
Я тоже вынырнул из почки,
на ветке вырос золотой.

Я тоже вышел из пеленок,
из скорлупы, из-под коры,
на солнце жмурился спросонок,
на разогретые миры.

«Вставай же, эй!»
И воздух свежий
не проглотить,— такой большой.
Сегодня в горле с чувством тем же,
проснувшись, слышу голос свой.

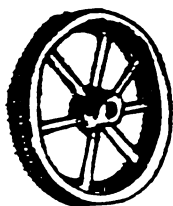


* * *

Смотри: девчонка полноватая
идет навстречу мне.
И солнце алое, закатное
заходит в тишине.

Все у нее такое полное,
и солнце — спелый плод,
и чувство жаркое, нескромное
во мне растет, растет.

Что делать, если впечатлительными
пришли мы в мир земной
с его дарами соблазнительными,
цветеньем, тишиной!



* * *

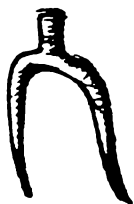
Приходит звездный вор ночами
и звезды яркие крадет.
Где прячет он их, под камнями?
В земле, ограбив небосвод?

Или в сарае за стропила
он их засунуть норовит?
Не меньше в небе звезд, чем было.
Немало есть других обид.

Что ж так томит и беспокоит,
такую боль внушает нам?
Ну крал бы что-нибудь другое, —
так нет же, звезды по ночам!

Ночей хватает в жизни черных.
А он крадет — и хоть бы что!
Крадет, как лампочки, упорно
по шестьдесят свечей, по сто.

Ах, звезд-то на небе без счета!
И сами падают порой.
Обидно то, что может кто-то
быть все же сволочью такой!



* * *

Ни прошлое, ни то, что будет с нами,
Не может лучше быть, чем то, что есть,
Прекрасен миг, вот этот миг, с дарами
Несметными — наш долг и наша честь.

На волю птицу выпусти, рукою
Приветствуй крону с пышною листвою.
Пастух пасет овец, зови в покои
Его, ведь пастырь он, как мы с тобой.

Что можно мигу этому в заслугу
Вменить? — что он, волшебный, с нами, тут.
Все может быть, пока в глаза друг другу
Глядят, пока по имени зовут.



* * *

В то утро я проснулся под столом,
проснулся меж корзинок и мешков
картофельных,— ни неба голубого,
ни воздуха, ни белых облаков.

Я понял, что отныне буду жить
в пыли, а не в почете и тепле
и все, что мне осталось в этом мире,—
картофелины в миске на столе.

Мой век недолог. Грубый этот стол
я заслужил, мне это поделом.
А все-таки есть небо голубое,
как стол, стоящий над моим столом.



* * *

Александр Чак

Углем, углем рисуя,
хваля руки разбег,
как всех гостей, спрошу я,
устроить на ночлег?

Разобраны постели,
всех уложить не смог.
На что же в самом деле
бумажный дан листок?

Удобней нет и чище,
и взгляда не отвесь:
на нем, как на кладбище,
для всех местечко есть.

Немало пережито
с тех пор, смотрю назад:
на том листе забытом
друзья мои лежат.

Себя рисую тоже
углем, прищуря глаз.
Пусть время, если сможет,
в свой срок разбудит нас.

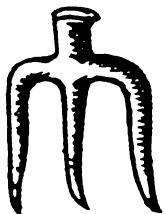


* * *

О перьях речь веду,
у нас под головами
в подушках, как в аду,
томящихся. Над нами

курлычут лебеди, бестрепетно летя
к нам, между тем как мать для наволочки новой
льняное полотно ткет на станке, следя
и за утком, клонясь к нему, и за основой.

В ее мечтах уже собрал я белый пух.
Всегда, признаюсь, мне казалось странным это,
когда к нам лебеди спешили во весь дух
на север пасмурный с другого края света.



* * *

Смелее как-то мы среди детей.
Нас защитить, увы, они не в силах,
А все же с ними чувствуем бодрей
Себя, сильней, нам вид смущенный мил их.

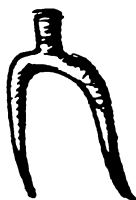
Кричим и то смелей. И в темноте,
Когда они идут с тобою рядом,
Стихает страх. И ты на высоте,
И ты их ободряешь взрослым взглядом.

Жизнь матери — не вечный ль это страх?
Не мать ли всех смелей на этом свете?
Никто не написал еще в стихах,
Как нас спасают маленькие дети.



* * *

В спокойных сумерках приди ко мне одна,
спокойно сядь на стул, спокойная волна
морская плещется во мраке за окном,
спокойно теплится,— не ходит ходуном,—
огонь в камине, точит дерево жучок
в диване, на плечи тебе кладу платок,
спокойны волосы твои, и ясно мне,
как рок спокоен твой в небесной вышине,
им плач трагический не предусмотрен, гнев,
угрозы, смотрит он на землю, присмирив,
кольцо спокойно на руке блестит твоей,
звезда с небес скользит спокойно в глубь морей,
и жизнь разматывает, словно пряжу, нас
спокойно, тихо, навсегда, в последний раз.



* * *

Женщина красится так, словно пишет стихи.
В комнате дай ей побыть в это время одной.
Опыт свой, жизнь свою вкладывает в штрихи,
Память на губы наносит помадой цветной.

В эти мгновенья опять на нее снизошло
То, что зовет вдохновеньем счастливый поэт.
Пудра да тушь... и похожа рука на крыло.
Так далеко она, словно ее здесь и нет!

Я не смеюсь, не смотрю на нее свысока.
Как мне понятно старанье ее, забытье!
Вот еще раз по странице пройдетя рука,
Вот повернется — и я прочитаю ее.

Я читаю, как птицы поют по утрам,
Я читаю, как бабочка бьется в окно...
Важно не то, что написано, важно, что нам
Видно за текстом, что любящим видеть дано.



* * *

Приходит из гостей звезда домой,
Идет она, мерцая, чуть не плачет.
И думаю я с болью и тоской,
Что все могло быть с ней совсем иначе.

Когда бы не пошла она сама
Туда, куда звезде ходить не надо.
Сидела бы на месте,— чтобы тьма
Не так темна была,— сама не рада.

И мы счастливей были б, может быть,
Теперь же ничего не изменить.



* * *

Еще с предыдущего времени мною любима.
Тогда уже липовым цветом, листвою во мне
лежала, нежна и темна, тишиною хранима,
до близости всякой, за тысячу дней, как во сне.

Еще я ни с солнцем тогда не дружил, ни с тенями,
как нынче дружу, но уже понимал, что вдвоем
мы будем, что нежными вместе мы будем ночами,
любил, как ребенка, которого жаждем и ждем.

И нынче, когда утолили мы голод сердечный,
что завтра опять, к нам пожаловав, не надоест,
себя поперек ощущаю любовь я, как вечный
свой крест.



* * *

Ах, не проси, человек, не проси
Никого ни о чем!
Ах, потерпи,— не поймут, пристыдят,
Пожимая плечом.

Видишь, как много хороших гуляет красивых людей,
И ни один не расскажет о тайне сердечной своей.

Не унижайся, не надо,—
Прошу себя, горем объят.
Так я стою,
И все жестче становится строгий мой взгляд.

Но голова моя,
Как сам на слове себя ни лови,
Падает срезанной розой
К ногам безутешной любви.



* * *

Когда к тебе иду,
из жизни выпадаю,
с привычкой не в ладу,
оказываюсь с краю.

За крепостной стеной,
вне денег, публикаций,
вне той молвы людской,
которой все боятся.

Вне жизни, говорю,
нет этому названья.
Не по календарю,
за гранью пониманья.

Вне времени, вне слов,
ни знанья, ни уменья.
Среди таких основ,
как счастье и смятенье.

Когда к тебе иду,
мне чудится, о боже,
что вышел за черту,
греха тут быть не может.



Переводы Нины Красновой



* * *

Мне, подумать только, выбил зубы
этот гад, бугай здоровый — Криш...
Я бы тоже, тоже мог ему бы
в морду дать и выбить зубы, ишь!
Зуб за зуб... Ведь он меня обидел!
Но (наверно, сила свыше есть)
я не подал руку, я увидел:
колесо неведомое — Мечь? —
шло к нему (ведь он меня обидел!),
шло, не разбирая борозды,
прямо с неба. А еще увидел
в небе три звезды и не звезды —

Нечто, надо мной оно стояло,
подавая мне какой-то знак,
и светилось так и так сияло,
как, наверно, Счастье. Точно так.



* * *

Ишь, человек соль на раны сыплет.
С песком мешая, соль на землю сыплет.
И ничего в его душе не щиплет.
И он свободно соль на землю сыплет.

Насыпал он на раны соль.
И рад.
И что наделал, сам не знает, бедный.
Речь не о соли: а о боли, брат.
Ты что-то очень, очень, очень бледный.



* * *

Делаю дни и минуты —
жизнь из которых слагается.
Неуловимая сущность —
редко она проявляется.

Дети во всем открыты,
открыто смеются и плачут,
лезут к тебе на колени —
себя от тебя не прячут.

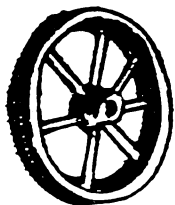
Взрослые, те не такие —
трудно до них дорыться.
Я, как и все, стараюсь
себя не раскрыть,
не раскрыться.

Так же и в мире —
в минутах,
жизнь из которых слагается,
неуловимая сущность
редко когда проявляется.

Вдруг улыбнется кто-то
или случайно заплачет,
высушить слез не успеет,
себя в скорлупу не спрячет.

В ясные эти секунды
все мне становится видно
и на людей почему-то
смотреть неудобно
и стыдно.

Что у кого на сердце? —
В доме, под сводом нависшим,
все, друг от друга прячась,
друг друга не зная — дышим.



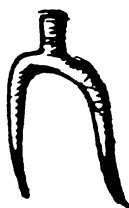
* * *

куда человек ушел
никуда человек не ушел
идет то вперед то назад
идет то назад то вперед

и смерть за ним по пятам
идет то уйдет то воротится
придет и возьмет старика
придет и ребенка берет

куда человек ушел
никуда человек не ушел
уходит и возвращается
и это пора понять

так ходит снует челнок
так строчки читаются пишутся
и умный учитель пальцем
тыкает в воздух опять



* * *

Ишь, как мало вещи, в общем-то, живут,
ишь, как быстро разрушаются, ржавеют и гниют,
ишь, как снегом покрываются на свалке каждый год!
Но иная вещь тысячелетия живет.

Дольше всех живут порой не хомуты, не клещи,
а особой пользы не имеющие вещи.
Например, игрушки всех родов,
при раскопках найденные древних городов.

Ну а дольше всех — пожалуй, украшенья,
не для обязательного, в общем-то, ношенья:
перстни, кольца, серьги, бусы, ожерелья,
золотые и тому подобные изделия,—

то есть вещи (в это вникни только ты),
человеком созданные, вишь, для красоты.
Изо всех вещей (любой возьми-ка век)
дольше-дольше всех живет не в них ли человек?

Ишь, какая с брошкой ты красивая стоишь!
Ишь, какое излученье от тебя исходит, ишь!
Твой вобравши дух в себя, переживет тебя, о да,
эта брошка, побрякушка, ерунда.



* * *

Шишки смеются, легко наверху смеяться,
Быть наверху — завидный удел.
Шишкам с пнем бы уделом сменяться,
Он всю жизнь на низу просидел.

Иволга плачет — от жажды страдает птица,
Возле реки не может напиться.
Пес не может пописать, нет,
Если колышка, деревца нет.

Всех понимаю и всех понимать учуся —
И червяка, и цветок на лугу.
Ишь, по верху земли качуся,
Низа никак найти не могу.



* * *

Березы на ветру, они на нас похожи.
Как тянутся они за ветром, погляди.
Секунды через две, и ни секундой позже,
Возникнет и в тебе движенья ток, в груди.

За ветром рвемся мы в предчувствии свободы,
Ишь, нет у нас корней, а только ветви есть!
Мы рвемся вдаль за ним и ввысь — под неба своды.
От нас с тобой стоят одни кульяшки здесь.

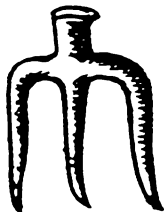


* * *

Ты свободен. Вон даль законная.
Пес беспривязный с радости лает.
Мир, как некая рыба зеленая,
Сквозь сетчатку мою проплывает.

Все, за чем я гонялся лихо,
Где оно? О другом мечтаю.
Таю медленно, тихо, тихо.
Как свинец новогодний, таю.

Становлюсь распрямленный, расправленный,
Свечи светлого дня пылают.
Пусть меня, как свинец расплавленный,
В счастье новое переливают¹.



¹ У латышей есть обычай в новогоднюю ночь лить, отливать из свинца счастье — расплавленный свинец выливают в воду, где он охлаждается и принимает определенную форму, и потом при свете свечи смотрят, что показывает на стене тень от свинца, какое изображение.

* * *

Бросай перо, стихи, иди же есть обед!..
Ну нет уж, я нашел, учуял верный след,
Я до конца пойду, какие мне обеды.
Стоят в моих дверях: заботы, дети, беды,—

А есть один цветок, на камне он цветет
(А камню, что ему, лежащему в пылище!),
Цветок укромный тот на камне так цветет —
Без солнца, без земли, без воздуха, без пищи.



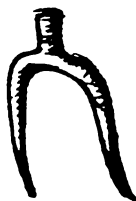
* * *

Выйдет слон к реке широкой, к устью,
Долго будет с грустью там стоять.
Вся материя полна в природе грустью.
Что же можно тут еще сказать?

В камне грусть, в воде, в цветке, в бутоне,
То видна она, то не видна.
Грусть в короне царской, в царском троне,
И в лохмотьях беженцев она...

Есть такая грусть — никто не знает,
Что за грусть, причины каковы?
Всем чуть-чуть чего-то не хватает,
Чтобы быть счастливыми, увы.

Выйдет слон к реке широкой, к устью,
Долго будет с грустью там стоять.
Вся материя полна в природе грустью.
Что же можно тут еще сказать?



Переводы Владимира Еременко



Трагедия и тихий свет

Пьеса есть — пока не достается.
А досталось — в ней иссякла плоть.

Взял свинью — и тотчас же найдется,
Кто к зиме придет ее колоть.

С детства се — трагическая пьеса,
Слух замкнешь, а слез не побороть:
Осень золотая краем леса
С тесаком идет свиной колоть.

Меж искусств трагедия — царица.
Прочие — неровня. Ропщут хоть.
Что из действ с закланием сравнится?!
Визг!.. И детям слез не побороть.

В тело Антигоны смерть вопьется.
Брата брат решится заколоть...
Пьеса есть, пока не достается.
А досталось — вмиг иссякла плоть.

Пусть столпы трагедии весомы,
Но ведь есть же что-то и над ней?
Только ль жар пылающей соломы
Повергает в ужас нас, свиной?

Ложь, мученье, страх, что не спасется...
Разве боль есть планка высоты?
Тихий свет на лбу моем пасется.
Тихий свет, куда стремишься ты?

Что — ты? Как мне выразить словами
Волю сокровенную твою?
Вновь бредут подпившие с ножами
Кончить недобитую свинью.

Тут не в смерти дело. Пусть не светел
Хрип в конце... В конце — финала нет.
Этот стих, что тихий свет пометил,
Пусть и завершает тихий свет...



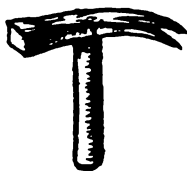
* * *

Пустыня одежд нас погребла.
Мы просто их не в силах обжить.
Словно вовсе мы без тепла —
Сердце леденит каждая нить.

Одинокие в пещерах одежд дрожат,
Как беженцы, застигнутые зимой.
Вцепившись в заиндевевший наряд,
Дрожит коченеющий голос мой.

Ан недаром рос я. И давал Бог.
Сколько в пряжу ушло трудов и обид?
Чтоб, окоченевший, вдруг войти к тебе смог,
Обряженный в этот сотканный скит.

Лишь глаза, верные искреннему лучу,
Тихо тлеют из бездны зим.
Невыразимо, как я тебя хочу.
И холод одежды невыразим.



* * *

Я страж мелочей. Пастырь незримых стад.
Как зеленеет нервов маленький сад!..

Я смотрел вчера сквозь крыло пчелы
И разглядел тончайших дорог бугры,

По коим пузыри плывут без оков
Вдаль, чтобы стать ручьем...
А еще увидел миллион дурачков,
Грядущих быть в народе моем.

И миллион мелочей еще разглядел,
Что ждут их наверняка,
Пока Бог каждое из новоявленных тел
Не наделит душой мужика.

Матушка-пылинка (невидимая крупинца)
Взбирается в небо. Ан и земле еще пригодится.

Представьте, такая же вот сейчас
Встала колом и режет глаз...



* * *

Посреди разбросанных букв
Ни строка, ни слово не в счет.

Посреди разбросанных букв
Жду, когда придет мой черед.

Что-то вдруг столкнуть без затей,
Чтоб язык чистоты вкусил!
Так связать, чтоб не только тень,
Чтоб и свет мой падал и плыл!

По зиме, где буквы — вразлад,
Постигая себя тайком,
Наугад качусь, наугад,
Обрастаю как снежный ком.

Мироздание слов и строк,
Минет срок — растает опять.

Будет ветер носить песок,
Поле брошенных букв сиять.

Только снова слух божество
Звука сотрясло до основ!
Снова ни во имя чего
Кутаюсь в невнятицу слов...



* * *

Даже странно самому —
Светел. Вправду счастлив вроде.
Непонятно почему
Вдруг из памяти приходят

Та сосулька босиком,
Звонких ведер ахинея...
Через поле вечером
Будто ель бредет, синяя.

И куда она? Во тьме,
Чуть задремлешь, свет яснее
Замерцает в глубине,
Удаляясь и белея...

То ли там, во мне, растет
Белый саженец сторожка?
То ль мерцает переплет —
Книги белая обложка

Без заглавия. И в ней,
Все в ней бело без обмана!
Первозданно, нет ясней,
И прекрасно безымянно...

Даже странно самому —
Светел. Вправду счастлив вроде.
Сам не знаю почему
Свет из памяти исходит.



* * *

Ишь ты, как усталость царит —
Хрустальная ваза!
(Табачку нюхнул с устатку старик —
Каждой ноздрей по разу.)

Ишь ты, как усталость царит:
Все — из рук, и сам как в дурмане.
(Глянь-ка, а ладонь-то горит,
Словно фонарь в кармане!)

Ишь ты, как усталость царит.
Дрема заклиняет ресницы.
(Глянь, а мир лишь теперь раскрыт
Весь. И слегка кружится.)

Ишь ты, как усталость гнетет,
Веки во сне росой орошая...
(Ты погляди, как грядет народ
Навстречу, о пути вопрошая?!)



* * *

На колесе, где ни оси, ни ската,
Пытаюсь усидеть, забыв про все.
Недаром же пишу, что верю свято
В то малое, что есть ни то ни се.

Ни свет, ни тьма, ни полдень-сон в июле,
Ни сумерки, ни утренняя рань...
Я канул... Мир — на опустевшем стуле.
И с голодухи хлеб почил, ты глянь!

Глянь, вон стоножка с вычисленным ходом
Вильнула, и... никто не усчитал...
Я брел домой примерным пешеходом,
Да где-то на чужбине заплутал.

Увы, паденьем истина чревата.
И можно усидеть, забыв про все,
Лишь веруя неизбежно и свято
В то малое, что есть ни то ни се.



* * *

Легкие мостки к сумеркам от дневного света.
Розы лепестки, что теплом навоза согрета.
И первенец бабочки, полный, как ножки путти.
И тот бабник, что найдет тебя и окрутит,—

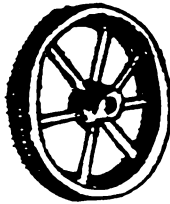
Всё — единого света чудные переливы.

И милая твоя рука, не оставляющая надежды.
И безветрие, срывающее мои одежды.
И вскипание камня на постаменте — диво!
Все того же света странные переливы.

Трауром радость выплачется из тела.
Вот и солнце еще, увы, не прозрело.
А о воздаянии, о правде картинной
Не знаю. Различаю лишь свет единый.

И верно, звезды ни то, ни это, ни третье,—
Всё переходы света и многоцветья.

К солнцу наверх пузырек ползет, погружаясь.
Бедная мать в постели угасает, рождаясь.
А постигнет это и сохранит от мысли лукавой
Тот, у коего две руки — ни левой, ни правой.



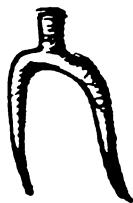
* * *

Эту грусть стоит использовать, ананас,
Пока она есть. Ибо кто из нас
Знает, сколь долог вечер?.. И осторожно надо
Взять то, что день лелеял до последнего взгляда.

Дело в том — что застлало свет.
Тьма по краям, и просвета нет.
Это пастухи гонят стада под небом.
Вижу их, но незрим для них и неведом.

Вот говорят: тихо... так тихо, что звенит в ухе...
Но грусть и есть что-то в этом духе.

Когда вся природа вокруг шепчется, вздыхая устало,
Но ты не вступаешь... Тебе этого мало...



* * *

Отказ, друзья! Отказ! Что в этой весте?
Медлит ручей. Но манит морская гладь...
Здесь, где пасутся бабочки с ветром вместе,
Многого слишком, выходит, надо желать.

Не объять всего. Да видно, надо стремиться.
Промахнулся— переболею. И скажи: «Не смог».
Отчего это слева, там, где радость гнездится,
Вместо нее ворочается тяжелый комок?

Желтый листик, парящий, как опахало,
Хоть и нет тебе назад к вершине пути,
А заметил — и так легко мне стало!
Ты не зря в себе свободу несешь, лети!

О ты, мерцающая горсть праха,
Тающая, лишь подует ветер слепой,
Безголосая моя маленькая серая птаха,
Ощущающая вечность перед собой...

Пусть, покуда жив и стою в тишине холодной,
О друзья мои, ушедшие в царство глин,
Здесь, под ясенями, я останусь один —
Признательный, отрешившийся и свободный...



* * *

Всесильна в мире лишь молитва. Она
Единственная, на любовь уповая,
Над силой и долгом властвует. И вольна
Деревья и зерна разбудить накануне мая.

Ничто иное не способно вот так
Безоглядно, на четыре стороны света
Взывать над землей, разрывая мрак,
Напоминая о том, что не согрето.

Ни ненависть, ни гнев и ни правый суд,
Ни отчаяние, ни нота стона
Желанного облегченья не принесут.
А только: в травы пади, как во время оно,

На заре ли, в полночь, и молись об одном,
Пока запахи и звуки станут едины...
И немислимо, чтоб кто-то за далеким окном
Не отозвался тебе в глубине равнины.

Ибо всесильна лишь молитва одна.
Безграничны и свет ее, и служенье...
Власть — усталость, только лишь усталость она.
И вечная смерть — тому, кто ведет сраженье...



* * *

Вновь слова требует ночь, зовет:
«Вот янов червячок¹, вот!
Посмотри, как она растет,
Посмотри,
Черная роса во тьме до зари.
Лето растет.

Матьери ночи,
Ночи черная мать,
Во мраке черно-зеленая рута свято
Набухает (как багровой дурью — косач!),
Медленно набухает, брюхата.

Дочь ночи²
Спит, пока лежит мгла.
Спит, непорочная, как была,
Спит,
Словно не вставала и не ткала,
Еще не запятнанная
Прикосновеньями дня.

Чиста ночь...
Чисты ее сыновья:
Ни за одним греха пути нет,
Все в начале у каждого.
И между них — я.
Я и это слово,
Которое — еще свет.

¹ Янов червячок — светлячок.

² Дочь ночи — солнце.

* * *

Именно это и мучит нас сейчас,
Вопрос без ответа:
Я люблю Вас, очень просто — я люблю Вас
Без причины. Да возможно ли это?

Без причины? Да может ли это быть? Без начала?
Надо так: чтобы росло, чтобы исчезало.
И начиналось все с облюбванного, найденного,
С чего-то увиденного или даденного,
С даденного днем или ночью,
С аромата или виденья воочью,
Чтобы было что хранить и ласкать!

Я люблю Вас так, как древний пращуров сказ
Повествует, где утрачены конец и начало,
Голос только. Человека словно и не бывало.

Или как вечер в море: темнеет само собой, без нажима,
Как-то сразу. И это непостижимо.
Так и любовь, для которой причины нет:
Только море, море,— ни земли, ни планет.



* * *

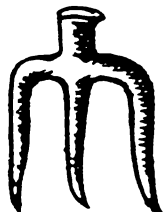
Серебряный венок. Серебряный путь.
В серебряных плодах яблоня.
Серебряный бык. Дохнул, и в серебре грудь.
Серебряная рана на руке у меня.

По утрам звон серебряный тешит слух.
И в ушах, и в карманах звон.
Серебряная хвостина в руках — пастух.
Серебряный журавль скрипит, наклонен.

И так хочется дырявым мешком,
Выпотрошенным напрочь, пустым,
Здесь, у края беспредельности, лечь ничком
Мне, это серебро раздавшему им.

А золото-то, золото где?
Оно исцелит, оно принесет плоды!
Напрасно ты о золоте, милая, об этой тщете.
В золоте у нас не будет нужды.

Вон серебряный колокол из глубины дней
Доносит звон серебряный — благодать.
Золото будет, когда ты уже не будешь моей
И никто уже ничего не будет желать.



* * *

Как-то по-осеннему легко из ветвей
Смех пичуги всплыл над головой моей.
Вереск зацвел. И скоро уже, вот-вот

Надо мной Великая Клоунада пройдет.
Из-под тыквенной маски, вслушиваясь в ее отголоски,
Душу свою я оттисну в воске.

Горечью ячменной пахнуло за огороды...
Все кузнечики ночью одной природы,
Той же, что и я. И очень скоро, вот-вот

Великая Клоунада над землю пройдет.
И, облаченный в золото свидетель событий,
Буду наблюдать, как на тончайшей из нитей

Один посреди неба висит паук
Крохотный. И никого вокруг.
Сам на себя он похож невысказанно. И ясна

Даль небесная, верующая голубизна.
Паучок на нити издали как печать.
А прочему — не дано ни значить, ни означать...



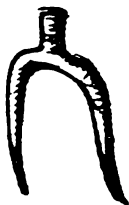
Одно солнце

Солнце нашло меня
То самое что на каждом шагу
И нет уже страха
На твоём берегу

Нет страха
Пусть на той стороне горит
Мирозданье
Или тьма спит

Нет страха перед Солнцем
В моем доме
И не стоит пожалуй
Проклинать тьму

Ясно чувствую
Как сияет от крыльца до стропил
Уж не потому ли
Что темноту любил



* * *

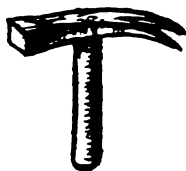
Глянь, сердце, как недужный корень
Уходит в сумрак-чернозем.
И ищет след полночных зерен —
Исток цветка весенним днем.

А может, сеятелю света
Неведомо зерно сие?
И семя он собирает где-то
В пересыхающем ручье?

А вдруг лелеет тьма-теплица
Все то в неведомом зерне,
С чем погребенный возродится?
Взойдет пропавший на войне?

А может, со времен предвечных
Там спит без злаков и без трав
В неволе поле зерен млечных,
Ни разу солнца не познав?

Глянь, корень сердца, индевея,
Застыл во тьме — кругом вода...
(Тьмы Сакта¹ у меня на шее
В луче сияет без стыда!)



¹ Сакта — брошь.

* * *

Еще хоть шаг единый, пока темно,—
В неведомую свежую тьму!
Только о сердце моем не думай, что печально оно,
И мрачное по нраву ему.

Сумрачность и печаль тому по душе,
Кто изведал светила пыл.
Тому, кто полдень свой миновал уже.
Кто у края заката стыл.

Вот, продрогший, таюсь в темноте тишком,
Как огонь, не взобравшийся по сосне.
Я во тьме неведомой — грязи ком.
Я — золотая руда во тьме.

Ах, солнышко, родное, постой.
Да соткешь ты свое рядно!
Дай напоследок изведать то,
Что не освещено.

Во тьме черемуха белее, чем днем.
Ах, солнышко, ведь ты не будешь в обиде?
Дай мне с темнотою побыть вдвоем
Невидиму и не видя...



Две сестрички

В девять спрашиваю ее со смешком:
«Что ты бродишь по росе босиком?»
«Ах, сестрица,— отвечает.— Сердце мое.
В десять уже не будет ее».



* * *

Связь нор
Трех или трехсот —
Сближение.
Единение трех тысяч нор —
Солидарность.
Мы выроем ад —
Три миллиона нор,
Три миллиона, которые не боятся
тьмы.



* * *

Звезда — сечение небесного нерва.
Потому-то звезды звучат, наверно.

Вот и в моих нервах блуждает свет без приюта.
А надсеки их — звездами предстанут кому-то.

Пусть свет, что люди во мне различают вроде,
По неразумению к ним идет, идет и приходит.

Так же как нас сияющее небо в вечном ознобе
К вере зовет, надеждой влечет и дарует обе.



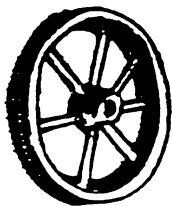
* * *

В маленькой комнате, когда свеча вздыхает сгорая,
Кажется, будто комната невероятно большая,
Словно нет стен. И нет препятствия никакого:
Вселенная. Потом далекая улица...

И Вселенная снова...

В большую комнату свеча приносит иное.
Все сразу становится маленькое, славное и родное.
Нас ровно столько, сколько нас
На маленьком круглом поле.
Свеча умна: строго придерживается избранной роли.
И сколько б ты осторожной рукой ни искал путей
в незримые дали,
Комната непременно будет такой,
Чтобы по углам тени лежали.

Как странно: одним дыханием, сгорая
Задуть ее ничего не стоит.
Почему же огонька мерцанье простое
Укрепляет нас, отвагу неся?
Видно, вся эта жизнь — одна-единственная свеча:
Маленькая ли, большая, не суть —
Вся.



Переводы

Эдуарда Балашова



Миниатюры. Форель

Наш колодец полон меда.
Сарай набит копченым угрем.
Лучше уже не будет.

Сорванцы на мопедах заполнили
Взгорье — не до сна им.
Тучи сизые громоздятся в небе закатном.

Рыбий омут
Полон неба.
А карпы пожирают кашу.

Рожь в позолоте.
Луна — тоже.
Я лишь тут стою в серебре покамест.

Луг в тумане.
Уже утонул малыш жеребенок.
Только мать еще плывет.

Ну что за бесстыдник,
Краснеть заставил рябины?
Ну что за бесстыдник?

По ночам пасутся коровы.
Не хуже, чем днем.
Их великая ночь ждет в стойле.

Не терпится рябине.
К резне готова.
Не сплю — дрожу по ночам.

Нынче нету белок.
И смелыми стали
До наглости орехи.

Валун, что выволокли с поля,
Грязный во тьме вечерней —
Как загулявший мелиоратор.

Мухи ищут где потеплее.
Уходят на пенсию.
И лишь тогда кусают всерьез.

При луне несжатый хлеб
Выглядит усталым.
Признаться, он не первой молодости.

Ласков мой мальчуган
С маленькими картофелинками.
А большие просто швыряет в короб.

Очень странно кричит журавль.
Как женщина в трясине.
Струсил я, видно.

Ракеты — над головами.
Пчелы — над цветами.
Не много ль, ведь небо с овчинку?

Тракторист на опушку заехал.
Тихо листья роняют березы.
Бутылка. Втихую прикладывается.

Здесь было подворье. Ныне
Лес. Чудо-березы. Кличет
Кукушка — дедово сердце.

Лесник на вечерней опушке.
Уже смеркается.
Домой неохота.

Ягода рябины каждая
Крестиком помечена.
И птице украсть не удастся.

Задницами к небесам —
Картофельная страда.
Боже, прости их, ибо они ведают, что творят.

Отава зеленая — точь-в-точь отава.
Рожь, именно — серая рожь.
В самый раз, по-моему.

Юрмала — подобье разинутой пасти.
Удивляется
И ест.

Чайки плывут в зеркале.
Ни ветра, ни волнения, разве
Это море?

Чайки стоят в зеркале.
Забредшие. На куцых ножках. Разве
Это море?

Валуны в зеркале.
Море кажется
Вечный покой.

В мае так нервозно
Цветы,
Как часы, спешат.

Пусть цветут незабудки!
Но туда же и
Хрен.

Сосенки антеннами побегов
Ловят последние известия: о!
Как раз для целебного чая.

Букли седые старушек одуванчиков
Радостно вспархивают.
И ты не печалься, бабушка!

Вся природа устала.
Побегам тяжело от бега.
У деревьев одышка.

Когда комары насосутся
Крови моей,
Считать их в кровном родстве со мною?

Ноты — уродцы
Фиты огуречной
С одним лепестком.

Одиночество —
Как в крови любви недостаца,
Не иначе.

Муха бессонницы
Бьется в окошко.
Чуть свет со страху умереть от света.

Завтра утром.
Цветы слов.
Завтра утром...

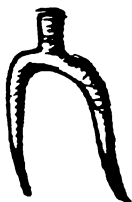
Глянь, вызван сок березы наружу,
Ему невдомек: что ж он не в силах
До макушки достать.

Солнце бьется о крыши,
Отскакивает с громом,
Лишь мы не слышим.

Солнце бросает свет,
Мы, увы,— тени.
И говорим: это диалектика.

Грусти как не бывало,
И это грустно.

Сам комар думает:
Мол, вот он — поэт.



Переводы Виктора Даугмалиса



Пассажи¹

Все линии нашего опыта замыкаются на нас самих.

*

Воздух, и вода, и камень суть наши союзники.

Если мы решим не поработать их, они помогут нам добыть и огонь.

¹ Эти крохотные поэтические всплески родились в результате сотрудничества И. Зиедониса с известным латышским живописцем и графиком К. Фридрихсоном как своеобразные комментарии к его произведениям. Первоначальный импульс — это мир линий и красок, навеянные им ассоциации. Однако сам строй мышления автора «Пассажей» обладает теми поэтическими качествами, которые превращают самые обыденные вещи в лаконичную и отточенную поэзию предмета или явления, и тогда собственно поэтическая форма может уже не представляться нужной. Необычность точки зрения, парадоксальность мысли, красота идеи. Все это может быть отрывочным и фрагментарным — но с условием, что мы воспринимаем этот мир как мир вечности. И почему бы тогда поэзии и впрямь не быть иллюстрацией бесконечного, в котором и молния, и камень, и любовь одинаково мимолетны и одинаково непреходящи? (*Прим. переводчика.*)

*

Не бойся, никто не может тебя проглотить,— у тебя есть задание. И будешь ли ты листком, или водой, или камнем на вершине — у тебя есть задание (ты задан).

*

Когда земля учится говорить, первое — это народная песня. Семечко культуры.

*

И когда держатся по трое, кто-то всегда защищен надежнее — тот, кто посередине. Это — третий нужный.

Покуда нет третьего, мы себя не знаем.

*

Мы разбираем клавиши рояля, что выброшены на свалку, и поднимаем на ноги, затем они сами разбираются по аккордам и уходят.

*

Грядут могучие небеса. Поставь на якорь свой дом и иди навстречу в одиночку! Это интимное дыхание — смерч.

*

Нам не знакомы эти замочные скважины. Мы не можем примерить к ним ключи,— они меняются.

*

Гляди золотыми глазами, покуда не украдены. Других ведь ценностей у нас нет.

*

Мы — так или иначе — верховодим. У нас есть свои смотровые вышки.

*

Да, есть камни на небе. А временами и ледоход.
(В половодье я боюсь за петухов на башнях соборов.)

*

Разведчики детства во льдах склероза. «Мы будем спасены, если дети к нам будут относиться по-доброму», — сказал Андерсен.

*

Если бы наследственность была только до четвертого колена, мы бы не узнавали больше Прометеевых детей. Но — вновь одна попытка! И даже в падении я чувствую: мое генеалогическое древо достойно.

*

Появились два солнца. И он не мог отвергнуть ни одно из них.

*

Красивей ли твой скелет черепашьего?

*

Это лоскутное одеяло сшито из лохмотьев лордов и нищих, воров и кесарей. Чистым шествует саван.

*

Я там был. Это земля, где должно оставить краски и уйти прочь голым.

*

А посох не нужен. Можешь стоять в полупадении к мистралю и так.

*

Всегда надо мной, надо мной и кажется себя умнее меня. Воображение. Никем не резанный разрез. Блуждающий огонек, у которого нет другого болота, кроме как — я.

*

Триотцы сошлись на берегу семиморя и сушат сто-сеть. Трисошки бросают тень от семисолнца. И на семиветру полощется семидревяная душа моего единственного прадеда. А помимо этого все тихо и нет никого.

*

Если кто-то выкладывается всем сердцем, разве уже не ясно, что он просит не лезть ему в душу? Весь театр суть одна великая мольба: «Возьмите себе возможно больше и оставьте мне возможно меньше. Столько, чтобы вам до этого не было никакого дела».

*

Аутсайдеры невозможны. Только не очень умное самолюбие обижается на старое колечко для ключей: меня не принимают!

Если ты иной ключ, твои зубья меняются, то двери у тебя будут вечно. Как может тебя оскорбить старое кольцо?

*

Да, моя бабушка, да! Ни крыша твоя не выцветает, ни платочек на голове.

*

И примечательно, что все предки почивают стоя.

*

Крест замечаем всюду, даже когда линия дождя идет к земле. А птицы причастны к горизонту и дви-

жутся, как солнце,— горизонтально. Так и эти следы под ногами суть горизонтальные знаки. Только мысль идет стоймя и накрест всему.

*

И все это надо мочь не сказать. Так ты учишься говорить.

*

Со временем дома́ обретают цвет кораблей.

*

Ни в один вторник я не любил тебя так, как в понедельник. А в среду был град. И дрожит конец карандаша, проходя сквозь столь узкий лист.

*

Жизнь не может сюда прийти. Значит, и смерть тоже.

*

Пришла тоненькая струйка молока и говорит, что она — женщина. Я верю, куда она еще не пропала в общей молочной пене.

Пришла плотная береста и говорит, что она — девушка. Еще пастух не вырезал на ней свои буквы.

*

Да, но у него нет дома. Поэтому он живет в своей чалме, в своем шлеме и в своей сети не меняющихся черт лица. Нет более надежного убежища, нет другого дома.

*

Она убеждена, что стихи и новеллы без нее невозможны.

И, когда ты взял ее шляпу, она сама идет в придachu.

*

Так лишь. Так невыразимо единично. И миллиардное море само удивляется. Так лишь единично появиться из вечности и ничего не потерять!

*

И тогда вы просто поворачиваетесь к вечернему солнцу и видите, что оно покидает вас такими молодыми, а само становится одной смертью старше. Ночь — это маленькое умирание Солнца. Надо просто учиться у Солнца понемножку умирать.

*

Есть разные расколы, но это главный: раскол между тремя звуками.

*

И свинопасы бессмерты, и агнцевы пастухи. Покуда они дудят свои дудки. Когда они тычут пальцем в небо, они умирают.

*

Один не одинок. Он наедине с собой. Нужны двое или трое, чтобы придумать одиночество.

*

Желай самого большего, что тебе могут дать: тьму, солнце и пустыню. Выпрашивай только самые сильные материалы! Остальное мы сами сделаем.

*

Всегда встречаются люди, превышающие высоту табуретки.

*

И что же мы сделаем с другими людьми, Мой Пове-

литель? Позволим им послушать? Или заставим жить свободно?

Доходит ли до трона твоего один лишь дым от жертвоприношений?

*

Иди ты впереди — ведь таковы твои краски. Я словно дым — тебя прикрою.

*

О, я уже сказал: воистину цвет белый играет прекраснейшую роль из тех, что существуют в мире красок. Но это еще не граница

*

Как же это так, что из миллиона получается всего лишь один шут? Ведь каждый старается!

Но недостижима эта чистота смеха и слез: мешает мелкий страх и самолюбивая скрытность. Шут же гол.

Из всего пугливого шутовства получается лишь один открытый голый шут.

*

Нет ведь большой разницы между чудом и ужасом.

*

Как важно: чтобы была пустыня. Без нее мы свое величие не найдем никогда.

*

Над разломанной поверхностью выходит наружу кристалл с таким покоем, который возможен только у формы.

*

Может, он и сам не знает, почему так вышло. Но было насилие, которое насилием же победить было

невозможно, которое можно было преодолеть, только спокойно пройдя сквозь него. Его сожгли

*

Мы достигаем такой мешанины линий, какая только возможна на нашем маленьком лице. Мы запутываем свое лицо, насколько это возможно за нашу маленькую жизнь. Тут сплетаются линии всех нам отведенных масок. Тут и линии всех придуманных масок.

И вот приходит художник и расплетает с наших лиц только нужные линии. А потом приходит и вечность и берет только самые нужные.

*

Спартак умер среди зверей. Сам зверь. Но очень хотел стать человеком.

*

Надежда — это вера в возможность. Магнит возможного. Вероятностная тяга.

Надежда — это непривязанная вера. Она свободнее и, возможно, счастливее.

*

Чем больше мы познаём камни, тем больше приближимся к истине. В камнях скрывается первоначальная ошибка. Исправив ее, мы могли бы начать сначала и совсем по-другому.

*

Существует довольно много принцев. Видишь, Петер, вот ты и состарился, и, когда я оглядываюсь назад, — ты тоже был принцем. Как же могло случиться, что мы тебя не удостоили чести?

*

Он хочет заключить в одну рамку два страха. А страхи (никогда) не мчатся в одну сторону.

*

Падает выпущенный из дворцовых руин камень и выбивает щербину на будущем.

*

Измерительные приборы все время ошибаются, и так рождается цивилизация.

*

В цифровом ряду стоят дети Отца Нуля.

*

Отблеск — это ответ, маленький правильный ответ.

*

Стремление оставить хорошее впечатление оставляет плохое впечатление.

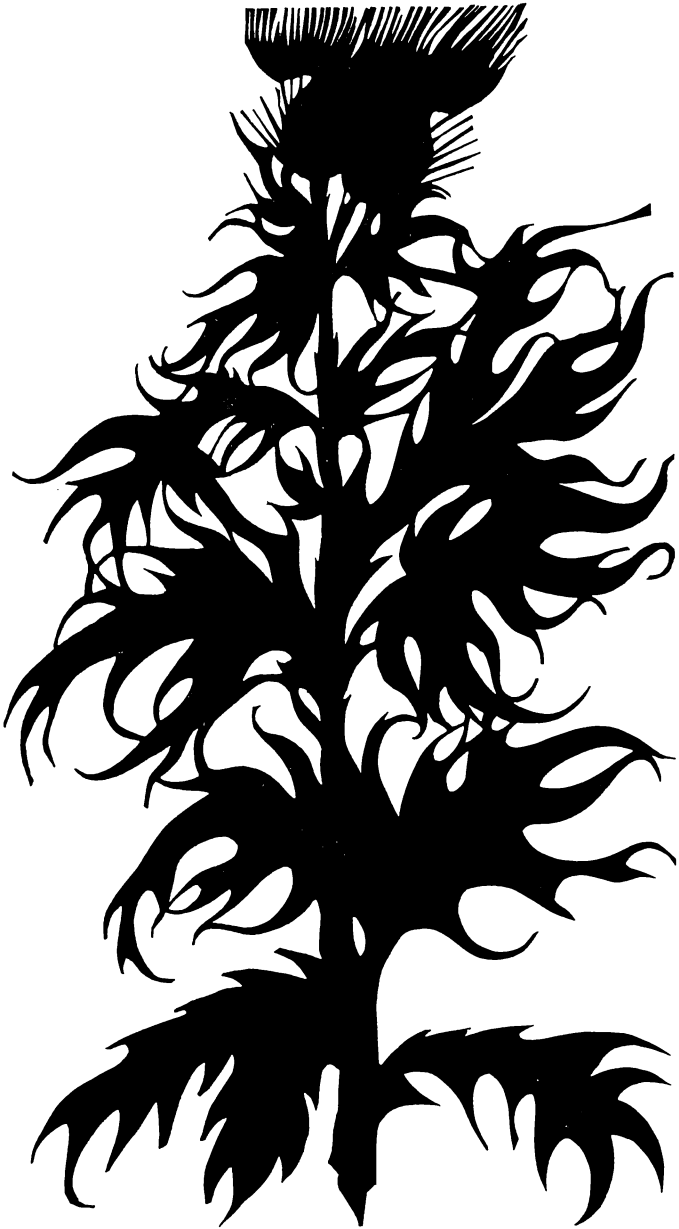
●



Поэмы

*Переводы
Людмилы Азаровой*





Поэма о хлебе

Колос-двойчатка

Хлеб сотворен, как мир,—
снизу земная кора,
сверху небесная корка,
в середине мякиш — жизнь.

Жизнь, неумехой замешенная,
глядишь, и осела,
отстала корка.

Отстала небесная корка.
Между тобою и небом
пусто.
И ты остаешься без неба.

Семь дней и семь ночей
Корчевал поля для жита,
Еле-еле всемером
Девки тесто замесили.

Латышская дайна

Ах, не держись так цепко за землю. Хотя бы по
воскресеньям.
В воскресенье болотный леший становится белым
облачком.

У корней корневое дыхание, у верхушек — верхушечное.
В воскресенье сушатся мои башмаки на верхушке.

Колосья так чисто поют, будто не запыхались,
карабкаясь вверх.

Вот мотылек, дурень этакий, все летает, глянь,
как мотылек, бездельник, красиво летает.

Воскресный конь — не будничный конь, тоже не ест
ничего, о звездной попоне грезит и нюхает воду
в ручье.

У воскресенья свои ворота. Во дворе дорожки белы,
копошатся куры в телеге, а в поднебесье
коршун висит.

Отпусти погулять мою душу, Матерь Земная,
распахни ворота воскресенья, только что туда
упорхнул мотылек.

О небо, хотя бы мякинные крылья! Воскресенье
прекрасное, день мякинной свободы!

Где ты, Юмис¹, пропадал,
Где все лето ночевал?
Во чистом полюшке
Под серым камушком.

Латышская дайна

Хлеб сотворен, как мир, — одна сторона светлая,
другая — темная.

И едят его разом — и в свет, и в тьму.
Ест черный и белый, добрый и злой.

Когда съедают ломоть, на границе
света и тьмы хлеба не остается.
Но остается нечто. Остается хлебная нива.
Нива тьме не слуга. Тьма, поедая хлеб,
становится серой. И это третий цвет.

Оттого мы белы, чтобы тьму сделать серой.
Это целенаправленный цвет. Серые колосья,
серые волосы, серые души умерших,
серый журавль и серый жернов.

Рожь — это серая правда,
света и мрака порог.
Воля великая рядом,
вкуса великий урок.

Снеги — черемухи — в небо,
красен огонь-егоза.
Серая Матерь Хлеба,
серые с карим — глаза.

Тихость, богатство, спокойствие тона,
отблеск, оттенок, намек, полоса,
серый мой батюшко с серой короной,
серый наш боженька там, в небесах.

Все-то мы в серой задуманы глине —
синий, зеленый и огненный цвет,
трещиной яркой на сером кувшине
наша ранимость выходит на свет.

¹ Юмис — символ плодородия в древнелатышской мифологии. Его олицветворение в природе — колос-двойчатка, орех-двойчатка, два желтка об одном яйце, близнецы, диалектическое единство противоположностей. В латышских дайнах часто.

Навоз возили братья
В телеге золоченой;
Навоз кидали сестры
Серебряными вилами.

Латышская дайна

Вживить пулю в тело свое, пусть заржавеет.
Вживить танк, пусть заржавеет.
Вживить завистника в белый ломоть
и превратить
в изюминку.

Обсадить глаза завистника
розами, пусть будет замечен
издали!

Смешать навоз завистника
с добрым навозом
и унавозить поле, чтоб
вырос чудо-колос,
чтоб не разобраться потом,
чей навоз, где зависта, где праведник —
все добро-удобрение.

И пусть изрыгает проклятья! Водите свои хороводы,
завистник в середке, пойте,
кричите «ура» и
«Солнце!». Завистник — «Где?» —
вверх поглядит, ласточка
прямо над ним, и вдруг
птичьим дерьмом залепит ему глаза.

И пойте.

Изрыгает проклятья? — пусть рядом грянет Гром,
ничего не слышать — проклятье? — не может
быть, никто не слышал.

А если заплачет, подставьте солнце,
пусть — и зашипит и исчезнет.

Базарная площадь,
карусельный галдеж,
а под рынком колосья,
а под рынком — рожь.

В серой жизни, отец,
ты за плугом идешь.
Дух и совесть твоя —
эта серая рожь.

Волк, не выследишь зайца,
с голодухи помрешь, —
дремучая нива,
безбрежная рожь.

В Юрьев день до солнца
паши нагишом — чертопо-
лох жито не заглушит.

Народное поверье

Не каждому это дано. Не веришь — и не берись.

На межу ты сбросил рубаху и огляделся:
над полем синяя дымка, земля гола.

Конь гол, плуг гол, гол жаворонок в небесах,
голая песня дрожит. Ты должен крепко поверить,
что ты жаворонок, ты первый щавелевый лист
в старнике, ты полевка в стерне, ты и конь
и плуг.

Ты должен крепко поверить, что вовсе не зябко:
мы дождевые черви, мы зайцы за валуном.

Ты разулся, и холод тебя пробрал до костей,
это добрый знак, ты ремень расстегнул и
штаны сложил на межу, ты должен крепко
поверить, что мы одинаковы все: и косуля,
и утренняя звезда, голый ремень
на грядке и чибис в тумане.

Пора браться за плуг и пахать.

На Егоря встань до свету да паши голый — чертополох не вырастет.

Народное поверье

Вышел на Домскую площадь, в телефонной будке повесил рубаху, штаны возле церкви сложил,
вот я и голый.

Пашут отцы голышом под Цесисом, возле Рауны, а здесь не так просто: глазают в квартирные окна и в окна банка — в этом смешливом городе, — здесь шутки плохи.

Идут в училище мальчики и не знают, что Юрьев день, что в Юрьев день наборщику должно голым газетный столбец набирать на заре, до солнышка.

Идут кассиры в банк и не знают, что Юрьев день, что в Юрьев день полагается деньги считать нагишом. Голый — в карман не сунешь, в рукав не спрячешь.

И радиодиктор идет и не знает, что в Юрьев день на заре он должен нагой читать в микрофон, чтоб уши не заросли чертополохом.

Булыжник распахан, и конь мой в мыле.

Соху волочу в музей и лошадь в цирк отвожу, возвращаюсь — сперли штаны. Не беда — если Домская площадь чертополохом не зарастет, жить еще можно.

Иду домой, и город дивится и смотрит, и кто-то вдруг произносит:— Да это ведь Юрьев день?

Провозглашаю ХЛЕБ. Очень простую вещь. Крепкий хлеб для крепких зубов.

Ель да сосна на худых
землях селятся, ольха —
на добрых.

Народная примета

Ель свое место знает —
в дремучей глуши, на осоках, где
хлеб не растет.

Сосна свое место знает —
в бору, на белом песочке, где
хлеб не растет.

На возделанный клин и не ступят.

Ольха на чужое зарится,
так и лезет на добрые земли.

В самодовольстве живет ольха,
не в одиночку, гурьбой
напирает на землю
и пожирает ее целиком. Стоит
чуть проявить гуманность,
как, скажем, с липкой или дубочком,—
стоит разом не отрубить,
она, не мешкая, через канаву,
торчит на пашне, и десять маленьких
ольханят вокруг.

Вроде бы не злодейка, каждое деревце —
живая душа,
только не доводилось мне видеть
дерева самонадеяннее,
бросовое, а требует лучшую землю.
Пустит корни в ржаной каравай,
ты отрежешь ломоть и не заметишь,
съешь малый кусочек корня
и вдруг однажды почувствуешь —
в сердце
ольховый чурбак, и неохота
сеять, и ты идешь на поиски пашни,
возделанной кем-то другим.

Захотел — расчистил пашню,
Ни осинки, ни кленочка;
Захотел посеять деньги —
Не разжиться семенами.

Латышская дайна

Мы должны быть сильнее
деревьев. Наши слабости
видят деревья насквозь и
лишают нас свободных
пространств. Только на миг
нас сморит полуденный сон,
а они уже засевают поле. И ночью.
Что деревьям пирожное?
Что деревьям крендель?
И посыпанный сахаром хлеб
для ребенка. И европейский
бутербродный изыск.

Поклон земледельцу,
среди папоротников
он спал в шалаше на рощисте,
поклон подсечнику, поедом
ели его комарье и слепни.
За то, что воздвиг на болотах он
Талаву, Бандаву и вообще.
Ведь в клюве у сойки желудь,
а береза сеет по ветру,
а ольшаник ползет, как чума,
белка швыркает орехи,
плюется дрозд семенами,
рябины — это целая армия,
нет ей дела до нас, она наступает
и делает дело свое.

Мой мальчик, он с топором,
а через плечо дубина,
он бульдозер, мой мальчик,
400 л. с. у него, и он
обязан расчистить десять га
под ячмень. Мой мальчик, нельзя допустить,
чтоб он надорвался и умер,
пока не вырастил, не поставил нас на ноги.

Пашет, пашет пахарь мой,
Пашет в поле и поныне.
Коль не пашет у порога,
Значит, пашет за горою.

Латышская дайна

Пахаря знает земля. В Томской губернии
у каторжанина Яниса сын родился.
Чужая земля, но пахаря чует, признала Янова сына.
Добрые земли, добрые люди, пашут
и благоденствуют.

В Бразилию в поисках счастья направился
Микелис, джунгли глядели во все глаза — чудо,
не человек! Все попугаи вокруг обучились: Микел,
Микел! Митчел, Митчел! В джунгли залез, почет
у него и достаток.

После войны скиталец явился в канадскую чашу,
за малые деньги купил лесную делянку и дом свой
назвал в память о росчистях и подсеках —
Лидумниеки.

У земли своя скорость вращения. Надо владеть
собственной тяжестью, чтобы на ней удержаться.
У пьяницы огромная амплитуда: от легкости птицы
до тяжести навозной лепешки. Балерина и вовсе
не хочет падать назад на землю. А вор сдирает
с земли последнее. Только пахарь живет
в пространстве меж журавлем в небеси и червем
дождевым в перегное. Не рухнет от тяжести и не
взлетит.

Пахарь — знак уровня, поплавок на зеркале
водном. Зеленый флажок ростка трепещет на том
поплавке. Пахарь — знак равновесия. Там, где
пахарь, земля прочно держится горизонтали,
ребенок идет, не опасаясь упасть.

Пахарь — пузырек в ватерпасе, по нему проверяют
точность уровня, можем ли мы начать
строительство — ввысь.

Там, где пахарь, земля поставлена правильно.

Потом вы сможете шар земной катать
и раскачивать — эксцентрично художественно,
экономически выгодно, политически верно,
индустриализировать, интенсифицировать,
классифицировать, модифицировать,
невротизировать, ибо вы знаете — пахарь придет
и вновь все уравновесит, выровняет и поставит все
на свои места.

Жницы старые, голубушки,
На моем ячменном поле;
Только клонятся головушки,
Только рученьки мелькают.

Латышская дайна

На пограничной меже мы сеем жито;
где не пылят колосья, там пепел
пылит на ветру. Граница —
текучий песок, бродячая дюна,
целиком засыпает селенья, пройдет над головою
граница, и вынырнет на другой стороне
неживая деревня.

Пахарь — единственный — укрепляет песок
рубежа, каждый год засекает.

И жатва и молотба — все на зыбучих песках
границы. Викинги изгибают дюну вдоль моря,
не сшибаться же лбами! — просто надо засеять
зыбучую дюну — будь что будет, кому-то быть
погребенну; прорастут остальные,
коль повезет.

Заблудились в поле девки,
Не найдут к жнивью тропинки;
Я тропинку угадала
По серебряным цветочкам.

Латышская дайна

Я делаю дело — не надо
ни платы, ни mzды, ни награды,
без денег — труда не жалею,
без топлива дом обогрею,
без ропота клин засеваю,
я ваших детей поджидаю:
кто двинется следом за мной
по вспаханной тверди земной.

Как зерна мы — побратимы —
спокойны и неотвратимы.

Шел пахать, шел боронить,
Лапоточки обувал;
Где весной ступали лапти,
Жницы осенью поют.

Латышская дайна

Станут петь? Станут.
Я горой за своих девушек. Ни разу
не возомнил еще: накормлю народ.
Я землю пашу для девчат своих.
Все они здесь, сельчанки, вокруг —
струятся и выются,
как прекрасные сны.
Рано утром на пашню —
Илга,
в белой мгле, как игла,
только борозды
настоящие,
все остальное туман.
А жаворонок —
это Дзидра. Дразнит задиристым
жавороночьим смехом,
так и день пройдет,
и поле засеяно.
А когда подморозит осенью,
моя пашня — Анда.
Тонко звенит ледяная корочка —
такая вот девушка,
хризантема — морозоцвет.
Ну и конечно же девицы-картофельницы,
вижу их на картофельном поле, что говорить,
я король, и они мне поклоны бьют.
Я землю пашу для девушек, они народ
благодарный, большой народ я вспахать не берусь,
только бы свой, малый.

Чертов цеп, молотило,
Зря бездельем попрекаешь:
Я работаю молчу,
Колочу да молочу.

Латышская дайна

Лодка движется против ветра,
а я не могу. Сам о ногу свою спотыкаюсь.
Ну, ты, сильный,
ну извини меня,
не успеваю. Ну, меньший кусок
я возьму, ну. Что —
толком не знаю. Но я, ребята, сделаю,
ну. Мне тоже не приходилось
бывать в такой компании.
Где вот так
лезут из кожи. Правда, я тоже
не понимаю, зачем жилы-то рвать,
но я говорю — сделаю.
И уже делаю, но черт его знает,
будто не пять пальцев,
а четыре, все как-то не так.
Размахнулся — и хлоп! — по ноге,
да и цеп зацепился.
Нет, ничего,
колочу эту чертову рожь,
но что же, эдак всю ночь
и без противогазов?
Тут ведь так — молотишь, молотишь,
да подавай пылесос!
Я тороплюсь, тороплюсь,
да не тычь ты пальцем!
Все как-то не так, и вкривь и вкось,
но я постараюсь, ребята.
А то без вас
мне крышка.

Кто молотит в этой риге?
Смех один, мелкота.
Тот в стерне заблудился,
Тот в снопе затерялся.

Латышская дайна

Мир велик,
и тебя зарыли в солому,
а по ней идут молотильщики, ты кричишь,
а тебя молотят по черепу, ты
кричишь — я свой,
а они знай молотят, высунул
руку, по руке колотят,
подумали — мыш — братцы!
а они знай молотят.

Высунул ухо, хватили по уху,
наверно, решили — шпион,
да нет же, я патриот!— а они
молотят, я маленький человек,
я кричу, снопами заваленный,
я требую справедливости, где там,
добьешься правды, когда молотят,
темно, и только удары, и хлеб,
они говорят, священен, а я
кричу — все человеку,
все для человека, и я
маленький человек, так вот непонятно,
для маленького человека тоже?

Пашите, да бороните,
Да пашню обороздите:
Так жил мой отец,
И с хлебом и с богом.

Латышская дайна

Колбасу начинают, концов не завяжут. Вот и свищет сквозняк в колбасе.

Измочалилась кисть, а туда ж — малевать желаю.
И у флага край не подшит.

А у рыси кончики лап так красиво опаханы, и хвост у вороны опахан так тщательно, острижены иглы у можжевельника и у ежа — законченность и совершенство.

Что же делать — писать на бумажных лоскутьях?
Беззубому шастать по свету и в штанах без штанин?
Как быть нам, если стрижет парикмахер
криво и клочьями? Как выйти на старт, как
добиться победы, если линии финиша нет,— как
время засесть? Вот смерть с косою пришла, а косить
не умеет, испоганит и вытопчет нам луговину.

Я не хуже и не лучше,
Не кичусь, не приbedняюсь,
У меня и у соседа
Одинаковы дернины.

Латышская дайна

Что ты хвастаешь, братец паук, что твоя паутина
пошире моей! Все зависит от мух — кто знаток
мушиных дорожек. Что бахвалишься, великанша
луковица, что много одежек,— все зависит от
срока, на старый месяц в землю посадят иль
в новолунье. Что похваляешься орденом, командир,
все зависит от пули — чью голову ищет.

Речь не о нас, а о них — наше ли солнце
поярче, песнь п е т у х а позвонче, Иосифу ли
с н о п отвесил поклон золотой.

Я зерну говорю: «Ваша светлость». Не могу же
я кликнуть: «Эй, ты».

А сеятель солнце не сеет на спинах, пусть
твоя спина и пошире, солнце сеет в глазах.

А глаза у нас одинаковы, брат.

Что ж мы, братья, зазевались,
У соседей клин распахан,
Запряжем гнедых коней,
Дотемна распашем поле.

Латышская дайна

Так вот; нечего канителиться: взялись так взялись.
Глянь, какой зад у лошади — глобус! А плуг как
корабль. Мы сами — расселись вразвалку,— мы
знаем, как плуг раскачивает. Что ж, начнем. И чтоб
без кнута. Звезда у коня во лбу и сзади хвост,
будто комета он, звезда хвостатая. А плуг как
позорный столб — стоит, что ж мы стоим? Мужики,
медведи двуногие, что ж мы стоим и ни с места?

Лошадиные ноздри как трубы, что ж, начнем этот
праздник песни, ступи в борозду, дирижер, и пошел,
так чтоб дух вон из плуга!

Вот и конь тонет в земле, ну, ребята,
что ж мы стоим, плуг зашипел, раскалился,
чего доброго, землю спалим!

А теперь вперед и гони
прямую борозду — прямо к вечерней звезде.
А потом — распрягай свое сердце,
пусть вволю пасется на небесном пастбище.

Шар земной все быстрей,
раскрутим и дернем,
норовят, как пырей,
нас вырвать с корнем.

А ты держись
и землей дорожи,
ты ведь вырос во ржи,
ты ведь вырос во ржи.

Так в старину почитали Екаба: соседи состязались между собою — на ржаном поле или на ранних ячменях. Каждый хотел быть первым — на севе, на жатве, молотье. И первым свою семью и соседей угостить первым караваем. День Екаба — 25 июля. Екаб хозяин, за ним следует хозяйкин день — Аннин день.

По народным поверьям

Умеешь — пляши, не умеешь — пляши.
До Екаба — всего еще половина пляски.
Смотрят во все глаза, потом
ты сможешь дух перевести,
а первая половина у всех на виду.
Я вижу, болит нога у тебя, но ты
притворяешься, что не болит. До Екаба
хромать не имеем права.
Если в доме, если в первом десятке домов
не наступает праздник первого каравая,
мы простим, мы привыкнем,
мы смирится, махнем рукой — ну и пусть.
Но тогда не вздумайте возмущаться,
если Солнце начнет опаздывать.
Если Янов день станут праздновать
когда придется, а Новый год
как выйдет.
Но тогда и день рожденья
все равно, когда отмечать.
Нет, не все равно.
Нельзя, невозможно,
надо держать очередность,
ибо счастье —
это порядок вещей, ничего больше,
только порядок вещей,
ничего больше.

На Екаба вечером за
едой молчат.

Народное поверье

Слово произнесенное полно до краев,
как праздничный вечер. Ждет.
Переполнено сердце, все будет еще.
Будто вечером накануне Лиго, еще не поют
песен, еще огни не горят, еще алое солнце
рожью бредет. Ждут.

Молчат. Но возник уже запах
березовых вянущих веток.

Еще рубят стебли аира и пекут
каравай, еще моют кувшины.

Никогда не бывает так праздник хорош,
как ожидание праздника. Слово
произнесенное сильнее

произнесенного. Ты видишь, в стручке,
как в слове слоги — горошины,
и стручок не лопнул еще,

и запомни: Аннин день еще впереди,
а сегодня Екаб пришел и новый хлеб.

Но по имени ты его не зови,
мы догадаемся сами.

Как крышка котла, неподвижен язык.

Чем меньше слов, тем сильнее мысль.

У Екаба СВЕТ на ладони, но ты молчи.

Хлеб у нас будет ВСЕГДА,

не говори никому. У Илзе будет ребенок,

у Байбы будет ребенок, а бабуся умрет,

но молчи. Блестят глаза у Яниса,

а Эджус обманщик, но молчи.

Сегодня мы стол свой растим. Тишина

над столом — наша сила, мы держим мысль

и стремимся понять без слов, что

мы значим друг для друга.

И сильнейшим окажется тот,
кто обойдется сегодня без слов.

А слова — шелуха, и ветер
ждет уже за окном.

Первый ломоть
кинуть собаке —
дурной знак.

Народное поверье

Гляди в оба: кому первый
кусок. Ты смотри у меня,
мотовка!

Входит собака, и ластится, и в глаза
заглядывает — как не дашь? Но
смотри, тороватая, помнишь ли,
что отец твой за печкой,
помнишь ты имя его?

Чужой пес возникнет из пены морской,
чужой пес из машины вылезет
и облизнется,

а брат твой еще не вернулся
с поля — ты у меня смотри!

Есть заповедь: «Не пинай
собаку», нет заповеди:
«Пахаря не пинай».

Такое в голову
не приходит.

Но случается, пнут. Ты приходишь домой,
пес сидит за столом, ах да, гость.

Ест теплый хлеб с маслом.

Спасибо, сестрица, что-то не хочется.

Ты приходишь домой,
жена каравай нарезает,
пес сидит во главе стола,
и в зубах у него

твой хозяйский ломоть.

Ты приходишь домой,
и соседский пес ест твой ломоть
из рук твоей матери.

И это труднейшее правило,
его не хотят заучивать,
его все считают азбучной истиной —
единожды один — один.

И вечно путают.

Мол, единожды один — второй.

Нет, не второй. Не другой.

Никому не давай хлеб че-
рез окно, благословенье от-
дашь.

Народное поверье

Бывает, кто-то захочет получить
через окно. Охочих много. Но дверь
одна, хозяин один — хозяин дверей.
А дочь норовит
через окно, и парень берет, что дают,
а сам и не думал брать. И брат брату
хлебный ломоть дает через окно,
но тайком, значит, что-то неладно.
И свояк — жулику,
ведь в дверь непросто —
постучать, войти, сказать «Добрый день!»
и поглядеть в глаза.

Окон множество, все открыты,
каждый что-то хватает
и бегом на работу
через окно,
вот и окна все нараспашку.

А двери травой зарастают.
Постепенно
забывается «добрый день».
Все берут в окно,
а хозяин стоит и не знает,
кому сказать «пожалуйста»,
окна «спасибо» не говорят.

Видишь — выскочил кот в окно,
неспроста,
значит, что-то украл.

Если хлебную крошку уронит дитя наземь, пусть ищет ее три дня. Не найдет — пусть читает молитву.

Народное поверье

И чего этот Эгон ищет — у одной, у другой, у третьей, у своей, у чужой. В школе, помнится, — к одному, к другому — списать. Со студенческих лет — туда, сюда, куда бы попасть. К одному, к другому, к третьему: дай закурить. С места на место: в плавание, на целину, в ресторан, из кресла в кресло — золотоискатель. И потом, и дальше — чего этот Эгон — из должности в должность. И чего этот Эгон — напьется и плачет, клянчит и пыжится, угрожает, завидует, ропщет — что он потерял?

Иди назад, Эгон, вернись к матери и спроси, где стоял стол.

Возвращается Эгон, но там, где стоял его дом, ровная пашня. До поздней ночи Эгон стоит, вокруг все дышит, и небо усыпано звездами, и Мать Земная молвит: когда упадет звезда, ищи три дня. Минет три дня, звезда умрет, и ты будешь искать чего уже нет на свете.

Правду, правду говорили,
А не лгали старики:
Что отдал я полюшку,
Возвратится хлебушком.

Латышская дайна

И в самом деле придется
шевелинуть рукой, само собой ничто не придет.
Быть может, придется даже привстать.

Быть может, шаг сделать, быть может,
хоть позвонить, чтоб принесли.

Держись, по крайней мере, если уселся на лошадь,
по крайней мере, очухайся и пойми — ведь вскачь
понесет на стеклянную гору, где гроб стоит
и красавица спящая в нем. Сообрази хоть,
что значит ворон. И вспомни, кто там, в гробу,
и страх почувствуй.

Или хотя бы робость, ведь живая девушка в этом
стеклянном гробу. И сотни юношей скачут в гору,
и падают, и расшибаются насмерть.

И вдруг ты прозреваешь и видишь —
отец засекает свои следы. Рассыпает зерно,
поднимаются всходы, и высокая рожь
стеною встает. И ты бежишь по этому лесу,
маленький-маленький,
и ищешь отца и зовешь его, но покуда
сам сквозь рожь не прорастешь —
не дозовешься.

У всех мгновение — измерение:
мгновенье — беда,
мгновенье — беспечность.
У поля ржаного лицо спокойно:
его измерение — Вечность.

По древним латышским поверьям, Юмис жил только в жите, считалось, если хозяину удастся его залучить, то хлеб уродится. Чтобы приручить Юмиса, надо было бросить ему на жнивье горсть колосьев. Если хоть раз оставить Юмиса без зерна, он разгневается и никогда больше не вернется на поле.

Юмиса по ветру не пустить.
Не слопать яйцо-подкладыш.
Не рваться из дому
изо всех сил, оставить последнюю
силушку, чтобы вернуться.

Сыновей — на все четыре стороны,
но одного дома оставить, чтоб починил
ворота.

Не спустить по канаве в море
целиком болото,
бочажок оставить для водяного.

Оставить за праздничной трапезой
стул пустой — для души предка.

Копейку в кармане — кукушке.

Будет Юмис — будет все у тебя.

Юмис, единственный, сам с собой
затекает игры. Он существует — игра
не кончена. Ибо Юмис, единственный,
сам-один с собою-другим играет.

Покуда играет он в доме твоём,
твоя игра не проиграна.

Бродит старый старикашка
Залежью да пустошью.
Может, сам Ячменный Юмис
В желтых-желтых башмаках?

Латышская дайна

Я видел старушку, старицу, старушеницю
в углу за дверью. Семенила, сновала, ходила,
холила горницу. Дальше своего двора она не
побывала. До калитки и то хорошо. Но ни крошки
чужой, ни соринки — выметен пол. Посеклась,
отошчала, но сторожка стоит в углу за дверью.

(Метла)

Я видел старца, старика, старикашку, из стариков
старика. Опершись об изгородь, он
глядел на поля. До межи — дальше он не бывал.
До межи все было возделано. Установлено.
Заполнено.

(Плуг)

Все дальнейшее их не касалось. Только Юмис —
шут гороховый в белых портках пляшет в райском
саду, потусторонний, мгновенье — и вот
он по эту сторону. Оборотень Юмис. Выворотень
Юмис. Юмис загадка-отгадка. Юмис двуплодка-
двойчатка. Двусвечник. Двузубец. Сам-один-два.
Два-один-голова. Юмис двужильный.
Двудюжий. Двурожий. Двубраз. Двусмысл.

Двуединый, обоюдный, древний, мудрый
Тудыйсюдый.

Он в колосе-двойчатке,
он в листике-перчатке.

Двурожка-колос гнется,
нет, все ему неймется.

Блеснуло, расколослось —
опять двоится колос.

В двуплодии, в зачатке —
там наши отпечатки.

У зернышка под крышкой,
за пазухой, под мышкой.

Гриб и орех — двуплодки
расщепит он в сердке.

Как встарь, не образуясь,
мир расщепляет Юмис.

Гляны — кричит Ячменный Юмис,
Я на горушку взобрался;
Братец мой Овсяный Юмис
Под застрехой распекает.

Латышская дайна

Юмис расщепленный. Река расщепленная.
В середине остров, и это твердь. Это жизнь твоя,
настоящее время. Половодье нахлынет, островок
унесет, и вынырнет он в другом месте, поближе
к морю.

Юмис раздвоенный. Врозь дороги и снова вместе.
В середине — дом, волость, страна, что кому.
Человеку спокойнее, если шире дороги
расходятся, — тем просторней владенья.

Джиу-джитсу — два растопыренных пальца в глаза,
тоже Юмис. Чем шире глаза поставлены, тем
противник громадней.

Юмис распахнутый. Разворот — настоящее время.
Распахнуто время между прошедшим и будущим.
Юмис сиюминутный. Юмис приютившийся. Под
крышей, кровлей, охлупнем. Два ската крыши —
прошедшее, будущее. Настоящее время — конек.
И Юмис-дитя сидит верхом на коньке, там ветер
дует в левое ухо и в правое, в лицо и в затылок.

Нынче матушка спешит
И денечек торопыга:
У дрозда птенцы в снегу,
У меня в снегу колосья.

Латышская дайна

Никогда не надо спешить... А если шторм загоняет
в Даугаву море и волны ломаются в церковь Петра?
Делать дело без спешки... А если мчится огонь
и сжигает ежей, и дом наш в лесу, и метла
багровая в небе пылает?

Не торопиться... А если чужак норовит примерзнуть
к моей любимой, она превращается в Антарктиду
и я остаюсь одинок, как пингвин?

О птицах, что на зиму остаются. Не только
страшусь, что замерзнут они, есть другая
опасность — могут остаться без птиц птичьи
дороги в небе.

Не столько беды — колосья под снегом. Заснежен
великий Путь Зерна, вот в чем ужас.

Ладно уж — остались на яблоне яблоки на зиму,
их поедают лоси. Но вдруг позабудет сиротка
в той самой сказке отряхнуть тяжелую яблоню —
вот-вот сломается. Как детям жить без любимой
сиротки, кого любить?

Все колосья плывут по нашим жилам свободно,
только мерзлый колос застрял. Одного нашего
деда оттого и хватил удар, другие
прожили долго.

Торжественна и молчалива
осенняя нагая нива,

свободна — кончена работа,
так тихо после обмолота,

созрело все, хлеб сотворен,
труд завершен,
круг совершен,

мы можем, братцы, посидеть,
и уговор — никто и впредь

другому зла чинить не хочет,
ведь жизнь соломинки короче

и одинок, и одинок
на той сололке колосок,

в рассветный час под птичий гомон
поклон мой колосу другому,

стою в зеленой полутьме,
одно цветенье на уме,

и зерен смутная догадка
смысл обещает жизни краткой.

Посеем, рассеем всяк понемножку! По горсти, по
сетеву, по лукошку!

Засеем пороги и лестницы шаткие хотя бы
щепотью, хотя бы из шапки!

Засеем ведьме ноздрю и зрачок! Урвем у смерти,
засеем клочок! Засеем озера, засеем истоки, засеем
обвал водопадов высоких!

Засеем отступников в округе, засеем
блудливые зенки ворюге!

По зернышку все, весь народ-сеятель, чтоб вырос
один государственный деятель!

Посеем сказочную бескрайность, посеем
Спридитиса¹, посеем Райниса!

Не шагнуть — засеем собственный путь!

¹ Спридитис — мальчик с пальчик.

Поэма о молоке

*

Мать

Но главная в моей поэме — мать,
мать, матерь человеческая, māte.
И вас однажды истина пронзит.

Есть в мире круг, круговорот — он вечен:
все странствия описывают круг,
чтоб вновь к истоку, к матери вернуться.

Пойдешь ли за крапивницей, шмелем,
за иволгой своею — все вернется
к истоку, к матери. Во все концы земные
ведут пути. Искомое искать,
желать желаемое, убиваться
по всем, навек недостижимым целям.
Ты ищешь истину и постигаешь тайну,
а это — матерь человеческая, мать.

Что не понять, то можно ощутить —
сквозь ток счастливого живого тела.

Я все давно забыл: тепло груди
и тот родимый материнский запах.
Но позже — в карнавалах и в толпе,
в святилищах я обостренным зреньем
невидимое видел — ту округлость
в дыханье женском, в жесте незаметном,
в подушке, в одуванчике — округлость.

Что не по разуму — на то догадка.
Идут под вечер женщины из бани:
мать впереди, подобно старой доброй
квашне. Она пуста, но чудо
таится в ней, как будто поутру
вновь хлебы печь и хлебный дух творить.

За нею средняя сестра, пион цветущий,
где в лепестковой тьме тоска ночная,
сегодня снова распахнет окно,
и станет в ночь глядеть, и сдержит слезы.

За ней сестра на выданье, постарше,
она не стерпит мужа слабака
и ждет сама, сама и выбирает.
Достанется избраннику ее.

В глазах у Илдзе птицы луговые.
Полюбит так полюбит. И в лохмотьях.
Да бархатом покажутся они.

И смысл и суть моей поэмы — мать.
В младенчестве мы с млека начинаем,
чтоб в старости вернуться к молоку
и дольше жить. Так человек научен.

Глядите — мудрость в нас от молока.
Посредственность — от скудости молочной.

Все оттого — и войны и убийства,
что на земле нехватка молока.
Жить сосунком при матери — доколе?
Сын в мир пошел, чтоб пищу добывать.
Беречь и возвращать — нет, не умел он,
однако был хитрей других зверей
и стал кормиться на земле убийством.

А ныне душегубство — ремесло.

Вот, скажем, остров, лось и человек.
Но у меня есть десять тысяч братьев,
и у соседа десять тысяч братьев,
а тысяча — лосей. Не поделить.

И порешил король: делить не надо,
а надо сократить наполовину
число соседских братьев, очень просто.

Но те не хотели умирать.
Так началась война. Все из-за мяса.

А в старости, устав в кровопролитьях —
шрам на лице да орден на груди, —
седой вояка к матери вернулся,
и врач ему лекарство прописал:
парное молоко и мед пчелиный.

Седой вояка к матери вернулся
за молоком.

У матери ни орденов, ни славы.
Всю жизнь траву таскала по охапке
с обочины, с опушки да с болотца.

Мать собрала на стол — домашний сыр,
и масло свежесбитое, и сливки.

— Ешь. А к зиме у нас теленок будет.

Сын думал — это благодарность, знак.

Он матери помог сберець корову

тем, что убил несчетное число

коров в иной земле, в иных селеньях.

А мать? Мать, дура старая, сказала:

— Как хорошо, ты дома. Не убий.—

Да, мать стара, ей не понять. Откуда?!

Виной всему однообразный труд,

ум деревенский как бы ограничен.

Привыкла разговаривать с коровой,

с собакой, со щавелевым листком

и мелкоцветной розой у порога.

Вояка же рассчитывал на масло.

Вернее, вот начало поэмы —
у меня молоко на губах не обсохло.
Я не чувствовал себя виноватым,
и меня побили.

Они закололи олениху,
из сосков еще молоко сочилось,
выше сил моих было есть это мясо,
и меня побили.

Причащаются верующие,
они соучастники, общий их долг —
на крови, из-за крови,
ради крови Иисуса.

Объявляет вендетта
кровомщение кровообращением.
Я говорю о молочном братстве,
я сознаю ответственность
за своих побратимов молочных.

Молокосос-мальчишка в мир является чистым,
ему хвататься перед миром нечем,
у него молоко на губах не обсохло —
молокосос.

Молокосос уцепился и держится —
чист еще материнским достоинством,
честен еще материнской честностью:
— Назови старушку эту каргой!
Назови, назови! —
А он — не может.
Молокосос.

Давным-давно заметил я ее —
младенческая первая догадка
о чем-то, что скрывают от меня.

Она была, как озеро, красива —
соседка. И, бывало, поиграть
своими пальцами мне позволяла.

И я гадал, а вдруг она мне мать.
Мать, та, что дома, баловать не стала б,
возможно, я чуть-чуть ей надоел.
Соседка — та сажала на колени
и позволяла пальцами играть.

Я как репей цеплялся за нее
(своих детей соседка не имела).
Сидел я на коленях, как в гнезде,
и чувствовал тепло груди затылком.

И нравилось мне, как она дышала,
однажды показалось мне — тону,
почудилась бездонная трясина,
где клюквенные кочки, зыбкий мох,
и в страхе я за юбку ухватился.

Но снова затвердел ее живот
и выдохнул меня в мой мир обратно.
И я уснул, как в лодке золотой,
для верности за палец ухватившись.

Я после песни пел и сочинял
мелодию и ритм — и все о лодках.

...Лети, лодочка, по волнам
к дочери хлебопашца...

Откуда эта песня? Я не знал,
из забытья, прапамяти, из детства,
моя, ее? Так и осталась тайной.

Да, это, понял я, была мадонна.
Я совершил открытие не первый.
Увидел на картине богоматерь
с младенцем на руках и ореолом
вкруг головы... И мой затылок вспомнил
тепло ее груди. Да, я узнал.
Глядел на холст, глядел на эту руку,
почти как у соседки, думал я,
прекрасны были пальцы у мадонны.

Соседка уезжала навсегда.
И где-то у порога на прощанье
прижала крепко голову мою,
так что теперь я чувствую всей кожей
глубинное тепло ее бедра.
Минули годы, это повторилось.
(Но это уж совсем другой рассказ.)

А бабушка, когда закрылась дверь,
не то себе, не то всем нам сказала:
— Добром она не кончит: всякий с ложкой
в кадушку с маслом — так и норовит.

Зачем я вам рассказываю это?

Потом я много раз встречал ее,
но мельком, каждый раз в ином обличье.

Прекрасны были губы и глаза,
но тяжело, с трудом она ступала,
и я страдал — нет крыльев у нее.
То вдруг явилась в платье мотыльковом
с походкой скрипки. Но в какой-то миг
душа ее заржала как кобыла.
Оторопел я и метнулся прочь.

Кто с ними? Будто у звезды у каждой
своя ущербность. Та на перекрестках
поизносилась. Эта все пеклась,
чтоб грудь была высокой, но дышала
с трудом и сипло. Мертвенность румян
на стертых и заплесневелых плитах!

Я знал ее — отрывочно и дробно,
и не было ни времени, ни сил
сложить осколки. Но жила догадка,
что целое на свете существует.

Незримый знак достоинства и силы

* * *

Я встретил осенью ее на рынке.
Базар осенний — полная корзина
сухого солнца и пахучих яблок.
В одно мгновенье я узнал ее,
незримый знак достоинства и силы.
Бывают деревенские дома,
с порога вам внушающие веру.
Все — прочно, связано, верно и не зыбко.

И с детских лет надежности печать
на человеке, что отсюда родом,
умеет он не путаться в ногах
и на ноги другим не наступает.

Я понял все по одному движенью,
она, усевшись, провела рукой
по сборкам и застёжкам — все ль в порядке,
мгновенное касанье — боже мой! —
шепнул я и от радости внезапной
и чистой вдруг невольно рассмеялся.

Я стал ходить за нею по пятам,
шаги ее и жесты повторяя.

Мы с нею встали в очередь за квасом,
пластинки покупали и расческу,
потом ботинки (но кому? мужские?).
Я принялся внимательно считать
ее покупки (да, зачем тетради?),
и вдруг в душе, на дне, возникла боль.
С ней были нитью связаны одной
чужие, незнакомые мне люди.
Ах, вечно так — слепой подле слепого,
и у нее, наверно, свой слепец!
Но вдруг, мой взгляд почувствовав затылком,
она заторопилась. Я за ней.

Какой магнит влечет ее домой?
Кто ждет — возникнет легкая походка,
засветится во тьме льняная прядь,
кто приковал невидимую цепью
какой-то лучик от ее сиянья
к свекольной борозде и очагу,
к корыту, что, визжа, болтушки просит?
Пора, пора! Торопится она
и убыстряет шаг. Я попеваю.
Скорей — и вот она среди своих
очнулась на автобусной стоянке
и, дух переведя, метнула взгляд
из-под ресниц и тихо прошептала,
как будто про себя: — Ну глупый, глупый...

И я стоял в сторонке неподвижно,
пока автобус скрылся. Городок
булыжным цветом цвел и цветом сливы,
и башня церкви устремилась ввысь,
в такую бездну, что щемило сердце.
Всех тянет вниз, к земле: струится дождь,
гвоздь падает из рук, с макушки волос,
внизу в лощине иволга кричит,
а ласточка ей в небе вторит эхом.
И долго я стоял, смотрел на шпиль,
угадывал, как зной ползет по меди.
Кузнечики трещали меж камней,
а в поднебесье в сини плавал ястреб.
— Эй! Здравствуй, друг! По золотым полям
ползет автобус.

— Ну и что такого?

— Да ничего.

Но все же с высоты
приметь тот путь, тот дом, запомни, сколько
друзей в доме и на дворе собак.

Все это прошлой осенью случилось.
И ястреб мне рассказывал всю зиму.

В чащобе Ригведы я встретил святого,
избранника — так пожелала корова.
Была она властною дочерью божьей
и стала коровою прекраснокожей.
Зачем, я не понял всего до конца,
наверное, чтоб обольстить мудреца.
Ни встарь, ни теперь не находят ответа,
сплошная загадка история эта:
и там полубоги — и там полулюди,
и был их союз необычен и чуден:
сын матери смертной — век краток его,
коль мать божество — то и сын божество.

Его молоком одаряла корова,
он жертвовал небу и млеко и слово.

Священной коровы достойный удел
в том уединенье святой разглядел.
Он книги творил, а она молоко,
желанья его узнавала легко
и волю его исполняла мгновенно —
священна корова и благословенна.
(О Индра, мне тоже корову такую!
Подай мне надежду, живу и тоскую!)

Случилось, что кончилась божья охота,
служители Индры скакали с болота —
могучие васу. А с ними их жены:
— Чья это корова? —

И взгляд пораженный.

Ответил старейший на все их расспросы:
— В сосках той коровы небесные росы,
не знает, кто пил это дивное млеко,
ни зла, ни завиды, ни боли от века.
Молочную струйку губами лови —
и юность вовек не погаснет в крови.

Пустилась одна из супругов в рассужденья:
— Не мне, я небесного происхождения,
и я обойдусь, но подруге, товарке —
мечтает она о подобном подарке.

(О Индра,
неужто с поспешностью рабьей
ты, светоч,
потворствуешь прихоти бабьей?)

Но муж ее Дьяус преглупую речь
прервал: — О, корову ту должно беречь
и к вздорным словам относиться сурово!
Потомок Варуны — владелец коровы,
достоинейший ришу, мудрейший поэт,
отшельник. И в силе высокий запрет —
никто ему зла причинить не посмеет.
Молчи же! Он дар необычный имеет.
Он видит, что есть. А что было, он знает.
И знание в единое слово сгущает.
Хранит, собирает и пестует свет.
Кто тронет его — тем прощенья нет.

(О Индра, непрочно под небом житье,
надеялся я на признание твое.)
Но как ни рядили, но как ни карали —
коварные васу корову украли.

(Ты слуг своих разумом, Индра, обидел.
Несчастье случилось, я это предвидел.)
И праведный гнев овладел мудрецом,
он молвил бесстрашно и с темным лицом:
— Вы воры, вы скверна, отныне и впредь
вам мною в бессмертье отказано — смерти!
Вы заново в мире — пусть будет наука —
у матери смертной родитесь — и в муках:
с невечною кровью в не вечной пыли —
ты смертным придешь — и исчезнешь с земли...

Мой разум к подобному чуду готов:
рождались от ветра, богов и коров

и там полубоги — и там полулюди,
и был их союз необычен и чуден:
сын матери смертной — век краток его,
коль мать божество — то и сын божество.

Но не потому я внимал изумленно
словам: полубог полетел с полутрона.
Нет, только одно говорило о чуде —
богов — стихотворец — свергает и судит.
Кто дал ему право великой досады?
Молчанье. Лишь вечностью — «Упанишады»,
что тот стихотворец в лесу сочинил,
но тайны своей до конца не раскрыл.

(О Индра, родиться бы от дуновенья,
от ветра: я помню свое назначенье —
сквозь лес человеческий —
в чащу дерев,
где копят и пестуют мудрость. Да гнев
и к полувладыкам и к полубогам.)

О, будь мне, Корова,
Хранящею —
там.

* * *

Что значит — в городе захотеть молока? —
Измученного узника в тюрьме Тары.
Как Брут, грубо работает Брутто,
Нетто — всего лишь среднее разбавленное.
Не то я хочу.
Не то.

* * *

И ястреб мне рассказывал всю зиму.

Dukte — в древней древности — дочь,
с корнем действия duh —
доющая, доярка, duhitar, дочка, дочь.

Dukte пьет молоко,
mlk, malko, млеко
из соска коровьего, из кувшина.

Древнерусское мълзти — сбивать масло,
старославянское мльсти — доить,
у сербов муза — дойная корова.

Andža, Andžs — имена латышские,
anktan — прусское масло,
потрескивает на камне санскритское
жертвенное масло — andžja.

Санскритская древняя ašva
жеребенка кормит молоком у литовцев,
прусское молоко кобылье — asvinan.

А санскритский конь ašvas
растворился в безвестье,
но остались следы и знаки:
острый, быстрый,

в латышских говорах ašvis,
непоседа, сорвиголова — aštrs.
Что это все означает?
Вероятно, природа
доверяет женской линии
и хранит имена ее, не позволяя остыть.

Мать, māte, mutter,
mater — вечное слово.

Mater

* * *

Я хочу молока!
Материя, пообещай сохранить
мать!
Мадонна Земля, пообещай сберечь
Мадонну — мою мать.
Пусть в Земгале моя мать муравьиной снует.
Земля, пощади мою мать-жемайтийку.

Радуйся, брат мой, Лиго уже у ворот.
Бей, Янис, в медные барабаны, сохрани,
Земля, мою мать-индианку и всех
моих меньших и младших в одуванчиках
млечных, в молочае,
напои молоком!
Обожжено мое горло окислами,
напои молоком!

Матерь Яниса:

Матерь sięgu — сыр творила,
круглый с девятью углами.

Что ни слово, то загадка
в этой древней-древней дайне.

Матерь Яниса сказала:
почему их ровно девять?

Матерь Яниса сказала:
отчего и не припомню.

Может, ведают литовки,
ведь у них такой же sūris.

Мать литовская сказала:
только пруссы знают тайну.

Матерь пруссов знала тайну.
Но ни слова не сказала,
не промолвила ни слова
мать, пронзенная мечом.

Матерь Пчел:

И когда наступает срок,
и я, молочка напившись, взлетаю,
ввинчиваясь в небеса,
трутни гонятся тучей за мною
и умирают на первой версте.
Род трутней хлипок,
а мне нужны крепкие дети.
На высоте двух километров
осталось всего лишь четыре трутня.
Выше лететь мне нельзя:
их хватит инфаркт,
они осыплются с неба,
и я останусь одна.
Нет, выше лететь мне нельзя,
осталось четыре сильнейших,
а из сильнейших сильнейший
один.

Мой первый мускул,
мой первый мускул глотания помнит
усилие первое — первый глоток молока.
Усилие — кричу от голода,
усилие — кричу от страха.
Материнская грудь меня научила — желать.

* * *

Соседская мать:

Соседская мать захворала,
родных у нее не осталось,
одна корова,
пришла пора прощаться с коровой.
Соседка медлила, не могла, и всё тут,
не сдавала, не продавала.
Нигде, никогда, никого
она в своей жизни не предавала.

Мать с детьми от многих мужей:
Все они
родились в свободной любви
от меня,
от матери — осмелившейся.
Я выбрала в этом мире
лучшее, что есть у него, —
детей. Мужья —
зануды и трусы, их нужно носить на руках.
Единственное, что умеют, —
зажигать бенгальский огонь.
О Земля, защити
мать — единую вечную цель,
куда летят все пули, все стрелы,
куда идут все искатели.
Кто ушел от матери
в мир на поиски счастья,
на край света пришел, обогнул, вернулся
и снова нашел и открыл
мать,
и ничто другое.

* * *

Матерь Шмелей:

отработают лето свое шмелиные дети
и улетают пастись в садах неземных.

Скорчись, свернись клубочком
и сохрани в глубине тепло:

весной

ты кладку начнешь, не раньше,
весной, не раньше.

Мать на свете живет не дольше, чем дети.

Матерь Шмелей живет еще одну жизнь —

Земля, когда ты тонула,

мы нашли спасение в матери.

Мать — Ноев ковчег,

откуда мы снова выйдем и землю заселим
после грядущих потопов.

* * *

Мать — Узница концлагеря:

В холодном поту на студеном ветру метался
огонь.

В последнем жару последним движеньем
от ветра свечу заслонила
чья-то ладонь.

И все они умерли, все и в бараке,
на сквозняке мы остались вдвоем —
я и свеча. И я не посмела уйти
и себя превозмочь.

Мать не смеет уйти
до того, как умрет фитиль.
Вечно бодрствуют у свечи
Мать и Ночь.

Апрель

* * *

земля в дымке
в весеннем тумане
жаворонок тянет
травину к солнцу

в земле по уши
в пару в прели
апрель
я живо одежду навыворот
(вовнутрь пуговицы)

такой вот оборотень-выворотень
изнутри на пуговицах
обрачиваюсь оглядываюсь
земля в дымке

такой вот шиворот-навыворот
озираюсь опоминаюсь
земля в дымке
в синеве в тумане

круг по пашне трактор
круг по небу солнце
искры в струе студеной в трубе медной
да в очках (бабушка семенит по тропинке)

обрачиваюсь
гляжу земля поворачивается
пласт земной переворачивается
а я снаружи да с изнанки

я поворот
и земля оборот
и я снаружи
да с изнанки

На ферме

У белой речки — белоручки? —
спросил и прикусил язык.
Не миновать ответной взбучки,
и поделом — подумал вмиг.

И вправду — эта брови хмурит,
у той насмешливый прищур:
— У нас всяк дурень балагурит
и ловит дур на каламбур.

Винюсь. Не шут неисправимый,
я странник с просьбою простой:
пустите на ночь пилигрима,
а если можно — на постой.

Я с вашим стадом буду ладить.
— Как? Здесь? На ферме? — Я готов.

Люблю телячьи уши гладить,
люблю мычание коров.

С достоинством жуют коровы,
с достоинством трава растет.
Другой покой под этим кровом,
другой у времени отсчет.

— Что, на постой — и вся забота?

— Нет, таково житье-бытье:

у каждого своя работа.

— Вы некурящий?

— Некурящий.

— В сарае сено, целый воз.

— Поэт? И вправду? Настоящий?

Ах, девочки, какой курьез!
Сбежал ли из дому, бедняга,
или прогнали чудака?
И налегке, одна отвага,
ни рюкзака, ни узелка.

(Курьез, каламбуры... Пусть вас не удивляют иностранные слова на ферме. Режиссер Фелицита Эртнере однажды рассказала: в двадцатые годы она приехала погостить в деревню, вышла утром во двор, видит — деваха моет и трет молочные бидоны. Молодая актриса, пытаясь завязать разговор, произносит: — Покажется ли солнцу сегодня? Ни ясно, ни пасмурно.— Да, странное освещение, как у Леонардо да Винчи,— отвечает деваха.)

Ведут в сарай. И в звездном блеске
заметней блеск смешливых глаз.
— Не хуже, чем пастух библейский,
вы заночуете у нас.

И дарит светом небывалым
тяжелый бабушкин сундук,
расправит крылья покрывало
цветное, пестрое, как луг.

И как за пазухой у бога —
я в колыбели травяной.
И запах сена у порога,
медвяный, пряный дух земной.
Я
засыпаю...

* * *

Я шел за ней по пятам.
Я шел на запах
березовых веников
и мелкий смешок
липовых желтых соцветий.
Я понял здоровье камня.
Стоял он, огромный и сильный,
у самой обочины
и гудел, как положено камню гудеть.
В росе. Во ржи.

Я шел в чужую дверь бесцеремонно,
но к ней — я постучаться не посмел.
Воды испить, да есть еще причины,
ну, скажем, предложил бы развести
воздушные сады и огороды,
росла бы свекла прямо в облаках
и тыквы плавали, как «цеппелины».
Пообещал бы здесь же, во дворе,
построить башню в три дубовых двери
и смотровыми люками — в безбрежность,
в охотничьи уголья, птичьи дебри,
в медовый мир, и лютиковый луг,
и в междуречье Тигра и Евфрата...

Я б для нее развел мышей летучих
и сов с их полуночным интеллектом...

Настал четвертый день, а я все медлил,
не мог набраться духу и войти
в калитку.

Клонился пятый день к черте. Под вечер
земля вдруг, встрепенувшись, застонала.
Я шел. И солнце било мне в глаза.

В этом доме жили они вдвоем.
Старый Кюрвис в дровяном сарайчике плел корзину.
— Добрый вечер! — Добрый вечер! Аннеле дома...

У порога стоял мотоцикл.
Я боком сел на сиденье,
прислонился спиной
к бревенчатой старой стене.
Садилось солнце.
Внизу у пруда стояла банька.

Я мог бы там поселиться.
В предбанник — охапку сена,
нет, лучше соломы,
и возле оконца
какой-нибудь ветхий стол,
чтоб писать.

Она не выходила,
Я в дверь постучал, никакого ответа.
Кюрвис промолвил:— А вы идите-ка в дом.—
Я вошел, постучал
в другую дверь,
но никто не вышел на стук.
Я сел на старый стул за старый стол
и написал ей письмо.

Появился Кюрвис и сообщил:
— Она спит.
Спит в такую прекрасную ночь.
Сегодня именины у Милды, Милдин день,
завтра Валяя,
а позавчера был Клавс.

Кюрвис был, как говорится, с приветом
и учил наизусть календарь.

* * *

Брат гложет кость, и шкурою сестра
кичится. Ни забыть, ни обмануться.
Мне шепчет одиночество — пора
другого одиночества коснуться.

Уткнуться бы лохматой головой
тебе в колени. Как надежно зелье.
На древний запах мяты луговой
душа свое откроет подземелье.

Да — лют. Да — зверь. Но где-то в тайнике
смиранный нрав за потаенной дверью.
Шепнет твоя рука моей руке:
я верю.

* * *

Никого я так не любил, ни малину тонкую
рано-рано утром на птичьей заре.

Шапки пионов и вишневые аллеи,
вересковая дымка и вечерний туман.
Аминь, Аннеле! Ты навстречу мне — дверь.
Ты мне навстречу — дверь золотая.

* * *

Я чист и душист, как банный лист,
я к телу прилип и смеюсь.
Будь тысячу раз благословен тот час,
когда я тебе пригожусь.

* * *

Мать, я за нею шел. Ни разу в жизни
я не бывал в земле так глубоко.
Той глубины мне не могли поведать
могила и картофельная яма.
Я был в подземной тьме, где дети спят.

Май

* * *

Весна пришла, нарядна и чиста,
как праздник, и невольно мы смутились,
на всех еще рабочая одежда,
ладони перепачканы, а пес
весь в вылинявших клочьях зимней шерсти.
Мы растерялись, кто же виноват —
мы иль весна, возникшая внезапно.

Красота, сказал старый учитель,
должна заставить нас врасплох
и создавать как бы чувство неловкости.

* * *

Весна как нежданно нагрянувшая сваха,
девушки бегут наряжаться.
Только трактористы и ухом не ведут,
едут по одуванчикам, как по желтой грязи,
сорванная кожа черемухи
к гусенице прицепилась.
Дикарское племя
из джунглей техники.

* * *

Илдзе застигнуть врасплох?
Как бы не так: она заметила издали —
с полотенцем белым в руках поутру
смотрела она на скворца,
будто это письмо
с признанием в любви.

Когда твердили все: обождем,—
она возражала: выйдем навстречу.

* * *

Только Каспар медлил, как ясень, листьев
не гнал. Знал ли он, что в вечернем лесу
распевают дрозды? Что зеленой хрустальной вазой
сверкает береза? Что у озера...
да, это он слышал: лягухи.

* * *

Весна, повторяю, уже наступила, черемуха
расцвела, и Алина стоит в навозных калошах
рядом с черемухой — плачет. Ничем
не могу помочь, красота беспощадна, когда
подходит вплотную и становится рядом.

* * *

Мотылек —
это подвижный небесный цветок,
ему не сидится, цветет на лету,
утверждает Илдзе.

Нет, мотылек — вредитель,
возражает Инесе.
Когда он тут пляшет вокруг,
одни глупости лезут в голову.

* * *

У коров — парикмахерские прически.
— Где именно? — спрашивает Айна.

* * *

Одуванчики зацветают, когда у дубов появляются
листья и выгоняет ель зеленые
вешние лапки. Дождь насыщен желтой
пыльцой.

* * *

Вертишейка проверещала ровно четырнадцать раз.
Зацвела черемуха.

* * *

У бабушки сломалась
швейная машинка «Зингер».

* * *

Из земли полезла крапива, сказала Ундине.
Отлично.
Наконец найдется цветок —
одарить
это чучело — Илмара.

* * *

О чем вы тут все толкуете?
Мы внизу копошимся, не видим,
как верхушки елей цветут, и дивимся —
шишки на голову валятся.
Права Аннеле, права Аннеле.

* * *

Утром
я увидел соловья.
Не пела птица,
сидела в черемухе тихо,
как вода пролитая.

Ночь пролилась,
не вычерпать ночь,
а роса вечерняя
не родилась на свет.

* * *

Я вышел из дому,
уговорился с мизинцем своим,
что начну свою жизнь сначала —
словно жаворонок,
стану радоваться — я серый:
гляди, все вокруг серое,
и только потом проклюнется зелень.

Июнь

* * *

Муравой брели коровы,
в мураве роса светилась.
Сбросив белую рубаху,
пело утреннее солнце.
Пробудились зубья вил,
визг проснулся поросячий,
утром ноздри щекотал
свежий чистый дух навоза.
Облаку вцепившись в гриву,
ветер в небо ускакал.
...Я подумал — это счастье,
нечто робкое, худое,
но оно нальется силой
в мире запахов земных.

Здесь душу запахи питают.
Здесь, где дорожка муравья,
пчелы тропинка золотая,
нам душу запахи питают,
и с жизнью рядом жизнь иная,
мир обостренного чутья,
здесь душу запахи питают,
здесь души запахов витают.

Илдзе мне пишет письма.

— Но только о деле,— предупредил я.

— Разумеется, только о деле.

Сарке, Краснуха — светло-красная. Как засохшая хвоя. Вдруг заискрится — вспыхнет. То подумаю о горячей плите, то на дом оглянусь. Нет, все в порядке. Только выжжена солнцем мурава на дворе. Краснокожесть этой коровы почему-то тревожит.

Вабуле, Жучиха — корова ночи, королева ночи, черная. Ей к лицу серебро. Будь я маркизой, я приглашала бы ее на званые ужины и стояла б рядом в вечернем бархатном платье.

Звайгала, Звездчатка — с белым пятном на лбу. Звезды — общая наша болезнь. Чем меньше имеем мы на земле, тем сильнее тянемся к звездам. У звездчатки во лбу Жерар Филип.

Слауне, Славная — с белым пятном у хвоста. В ней что-то от воскресенья: с весельем, с велосипедами и ветром в спицах. Светлый глоток вина — светлая пестрина в душе.

Бриедала, Олениха — бродильная сила в этом имени. Седая, как старая учительница, и я всегда перед нею теряюсь. Почему, и сама не знаю, для нее выбираю свеклу получше. Других коров я могу погладить. А эту боюсь. Так и хочется сделать книксен.

Думала, Дымка — дымно-бурая, будто кофе. Гляжу, и торжествующие мысли приходят в голову. Ведь мы можем накормить всю огромную эту страну. И детей чужеземных. И странников. И все обязательства, что мы подписали, давным-давно угаданы в латышской старинной дайне: масло складывала горкой да сырами подпирала.

Зимала — в имени этом слышится «знак, знамение» — у нее белые уши. А мать — чернуха. Белых нарциссов она нанюхалась? О боже, как чутко настрожены две белые каллы. Будто вот-вот их преподнесут некоему черному президенту некоего африканского государства.

Райбала, Рябуха — стоит в хлеву, как перепутанная карта мира. Даже вымя в пестринах, в рябинах, три соска черных, один белый. А молоко во всех четырех одинаково белое. Получается, что мировая политика к молоку отношения не имеет.

* * *

Одна-единственная у меня коровушка,
Муравеюшкой нарекла ее, Муравушкой.

Я свою коровушку берегала,
муравьиным именем нарекла.

Из латышских дайн

Как окрестим тебя, коровушка, кровинушка?
Цибиня, Цистерния?
Цеберите, Цеталиня?

Маружа уверяет: имя должно быть долгим, и
чем длиннее, тем лучше: Вигриезе, Вибанте —
так струя молока звенит в подойнике.

И остерегаться зудящих ссс и ззз,
корова шарахнется, как от слепня.

И ни в коем случае
не давать имя вязкое, имя дряблое,
слово плюхающееся, булькающее.
Иначе закупорит молочные жилы,
будто глиной
залепит корову.

* * *

Яна просила вчера научить ее
хлебы печь.
Детям очень хочется свежеиспеченного
домашнего хлеба с медом.
Почему только детям,
возражает тракторист Волдис.
Я бы тоже не прочь,
только кто испечет.

* * *

Елки-палки, возмущается Эйдис,
нет ни одной больше девушки,
у которой в песеннике
засушенный листик
полынного божьего деревца.
Стали божье деревце величать туйей
и разводить для изгородей какую-то там алычу.

* * *

Говорят, возле ислицкой мельницы
изловили щуку — четыре метра.
Что ж, я верю.
Вчера я увидел, как Айна Петеру
пыль пускала в глаза,
пока тот не заблудился в ее коридоре,
будто нечистый попутал.
Трактор стоит во дворе
и сам по себе ни с места.
Ничего удивительного,
если в мельничном пруду заведутся подлодки.

* * *

Лежат у мельниц жернова,
в небесный свод уставив око.
Дробь дятла в мире, стук и рокот,
так возникают жернова.
Вздыхает Рудис: трын-трава,
жизнь коротка да вышла боком.
В небесный свод уставив око,
лежат у мельниц жернова.

У Маружи, говорят, корова заколдованная.
Маружа сама колдунья.
Маружа из ума выжившая старуха.
Маружа ведьма.

У Маружи ни гроша за душой.
Но у Маружи корова зато —
ни зимой в хлеву не умещается,
ни летом в загоне.

— Нелегко живется, если деньги
больше кошелька? — спрашиваю я у Маружи.
— Большие деньги, — говорит Маружа, —
И не разменять.

Дай мне, Мара, коровенку,
что осталась из ста.

Латышская народная песня

если в доме тщета
во дворе пустота
бери коровенку
что осталась от ста

цеди цеди
хоть посуда пуста
бери подойник
что остался от ста

дудку дудочку
вырежь дудку в кустах
пой песенку
что осталась из ста

под войной под набегом
родные места
где приют где убежище
что осталось от ста

среди черных пожарищ
белее холста
человечий детеныш
что остался из ста

Я знаю заговор: «Ручьем, речкой в мой подойничек, а к чужачке синей пеною». Я многого не просила: дай мне один пузырь-пузыречек.

Я знаю заговор: «Ведьма скачет по волне, медный якорь на спине. С усадьбы да с подворья — мое, не чужое, мое, не чужое; с хлева, с выгона, со взгорья — мое, не чужое». Я многого не просила: пусть течет молочко, пузырьками пузырится.

от тебя ко мне один пузырек
кольнет иголкой
вспыхает огонь под днищем котла
пробьет колокол

в небо я пузырьком поднимусь
не путешествовать
стану я облаком средь облаков
пастушествовать

лужей лужицею прольюсь
в льдины
скоро придет огонь вершить
прощение и простины

прах пыль тлен твердь
ком земляной да камень
небо небушко жизнь гудит
в крови пузырьками

А у дедушки цветок на козырьке,
сердце бьется
карамелькою в кульке,
а на пальце божья коровка сидит и ни
с места: божья коровка, где моя невеста?

Третий день в поля везут навоз,
по уши в навоз коровник врос,
божья коровка, лети за облака,
принеси мне меду да молока!

В черных пятнах māgīte — священная печать.

Ты куда, коровка божья,
хоронить,
крестить,
венчать?

Ты Mг,
Ты Māraḥ — умерщвляющая,
Мара — ветвь смерти, Мара — мертвь!
Бревно рухнуло и придавило беднягу
возле свежего сруба, исходит он
кровавою рвотой (а земля в цвету, в буйстве!).

Жена средь коряг на росчисти
волчицею воеет,
нечистого призывает:
упеки Мару в пекло,
ниспошли Маре мор!
Но никто не властен над нею —
двуединой, в ней червь и завязь,
конец и начало.

Мелет, мелет, мелея —
в море черная змея.
Мельню вспять не повернуть.
Мертвым в мир заказан путь.

Под корнями, над травую
мертвым смерть, живым живое.
И подсолнух золотой
над ребячьей головой.

Только что родился Кришьянис Петерс!

Родился. Родился в своем времени и своевременно. Вовремя родился, папоротник еще не расцвел. Скрипел во ржи коростель, и ворочался в бочке огонь, и капала смола на траву.

Вдруг чей-то крик раздался, и все обернулись вмиг — каждый в другую сторону, всяк ждал увидеть иное: тот — на белом коне, тот в ежовой шубке; все живое жило в эту ночь: пузыри стонали в бидоне, лягушки, надувшись, пели круглые песни под толстым зеленым пологом.

Вскрикнули петли чулочных застежек, и ойкнул стежок, но было темно, и цвета не разобрать.

Одно было ясно — что-то случится.

Тут пень из пламени подал голос, и метнулся язык изо рта, вот-вот сложится слово, но какое — еще неизвестно.

По гравию кто-то к морю шел, и чайка встревожено взмыла с камня, взглянул я в ту сторону — никого; мы продолжали праздновать Янову ночь — Лиго!

Но роза оторвалась от корня с коротким стоном, и зазвенела в колодце вода. Кто-то встал и промолвил, что хочет пить.

Мы держались вблизи костра, на расстоянии светящего пламени. Ждали обещанного.

Обещали — придет. Останется с нами. И будет есть наше. И тесно прижмется плечом, еще теснее.

Верхушка огня — как верхушка ели, только еще подвижнее: не от ветра вьется, а сама по себе.

Кто-то бросил в углу пивную кружку, кто-то сыра кусок, и, повинувшись голосу предков, мы стали кидать подношения в жертвенный пламень — что получше. У кого что нашлось: шапку, заколку, нож, очки, пудреницу. Я бросил в огонь носовой платок, пропитавшийся в муравейнике муравьиным спиртом.

И Янис в углу швырнул золотое кольцо, и голос возник из огня: да возрадаться тебе.

И родился у Яниса сын. Не видел никто, но весть прилетела, что он родился уже и с именем Кришьянис.

Он родился своевременно и в свое время. Современником. С нами ему жить.

Он пришел, как в Янову ночь Яновы дети приходят.
И будет встречать здесь Яновы зори. И все дети Петерисов и все дети Микелисов будут неподалеку. На расстоянии летящего семени.

* * *

Лиго!

Июль

* * *

Свекольные листья —
большие талантливые уши —
слушают солнце.
Но приказано расти в толщину!
Мать всего живого, Толщина-Толстуха,
погладь по голове и меня.

* * *

Не ленив ливень, хлещет,
да все исходит пустым паром.
Будто отец-бродяжка
заявляется к детям
однажды в месяц,
ну любить, ну баловать.

* * *

Картофель цветет.
Но клубень, живущий во тьме,
не увидит своих детей никогда.
Быть может, и мы
живем на земле как кроты?

* * *

Мак — цветок легкомысленный,
в полнолуние
идет не оглядываясь.
А за ним остается
довольная рожь
и плачущие васильки.

* * *

Цветок картофеля —
незабудка моей матери.
Взмокшая лошадь борозду гонит
в цветнике моей матери,
и отец мой
плуг натаскивает.

Все они
картошкины дочери:
Айна, Инесе, моя Аннеле.

Семейство пасленовых.

Вроде обычный цветок, да нет.
Зацветая,
и завязь завязывает.

Узелки, клубеньки, картофелинки.

* * *

У Милды один разговор,
одно на уме — консервные крышки.
В обозримом пространстве
все законсервировано.
Мы с Рудисом у магазина
пьем пиво,
и мимо топают Милдин Янис.
Иди сюда, к лейбористам, говорит Тылтиныш,
пока твоя консерваторша
тебя не стерилизовала.

* * *

Дети гороха празднуют
праздник совершеннолетия.
Усевшись рядышком
в стручке по семеро,
недозревшие горошины слушают,
как старая морковь разглагольствует
о чувстве коллективизма.
Но горошины сами себе на уме и знают:
как только лопнет стручок —
все врассыпную
и каждая своей дорогой.
Мгновенье
зрелости
близится.

* * *

Почему — неизвестно —
все сорняки мужского рода:
репей,
пырей,
бодяк,
осот,
лопух,
чертополох.

* * *

В колхозной столовой
растет в горшке огромная мирта.
По вечнозеленой веточке
ломай не хочу.
А судомойка ворчит:
все медлят, тягомотину тянут,
скоро колхоз, как бурьяном, миртами
зарастет.

* * *

Старуха родоначальница
изучает невестку:
и варить ловка,
и печь горазда,
и стол накрывает
с цветочком в вазе.

Пообедала
и на речку купаться.
А посуду мыть?

Экое прилежание,
как у животинки, молвит старуха.
До живота, не дальше.

* * *

Смотрю, как Алина моет подошники,
и думаю: ведь она и сама —
человек очень чистый.

Здесь, где чисто цветет земляника
и в болоте белый багульник,
а красивейшее из яблок
белый налив, — здесь немислимо затхлое
полотенце.

Свой торжественный юбилей отмечает
земледелец Эрнест Соверс.

Мы — с землей и коровой
от колыбели до гроба.
Мы — закваски молочной,
молочной пробы.

Постоит молоко,
сливки отстоятся.
В этом наше достоинство —
держаться, удержаться.

Она и так уж была вроде драной козы.
А он ей возьми и снова
голову расшиби.

— И откуда такие люди берутся? —

поежилась Илдзе.

— Они не работники, все оттого! —
сказал старый учитель.

— Они здесь не сеяли,
оттого и заблудились.

Единственная вежа,
чтоб не сбиться с пути,—
дело, что сделал ты сам.

Они заблудились во ржи,
посеянной кем-то другим,
оттого что у них здесь нет
своих опознавательных знаков.

* * *

Говорят, латыши скуповаты.

Ты трудилась, мать, ты скупилась?
Работа твоя копилась — окупилась?
Кто вырастит дерево, вынянчит,
тот не вытопчет.

Маружа говорит:

— Я телушек погоняла
хворостинкой ивовой,
прут березовый не тронула,
рощи братниной не тратила.

* * *

Паулине за пятьдесят.

Время отавы.

Внутри — цветы и травы, и впору самой охапкой
в копну.

Говорит:

косарю своему
не только рубаху белую,
белую душу отдала бы.

* * *

Летним воскресным утром
кладбище на пригорке
зелено и опрятно,
как огород возле дома.

Свежесть рассады цветочной
возле отцовской могилы —
будет земля ему пухом,
нам же — трудиться, трудиться.
(Выведем новый гибрид —
для кладбищ.)

Летним воскресным утром
в жизни зеленой и крепкой
дети — зеленой и крепкой
порослью на пригорке.

Лейка совсем еще новая
и блестит.

И ликом к лицу встает полнолуние, и быть греху.
И входит старуха, в хлеву рассыпает бобовую шелуху.

Ночью приснился
кувшин с водою —
к здоровью.

Везет громовержец немецкую падаль, телегою грохоча.
Старик, вострепнувшись, берет топорик и рубит сплеча.

Снилась комната
в цветочном убранстве —
к пожару.

Старшая дочка в полном цвету, средняя в полном цвету.
Младшая — та всего лишь бутон, но выбор падет на ту.

Снилось — кто-то чужой
на ходулях шел по снегам —
жить среди людей студеных.

И девушки с луга приносят в коровник охапки трав,
корове дают подмаренник и клевер, желание загадав.

Звезды снятся —
бобы уродятся.

Бросай венок, бросай поясок, бросай в стремнину
с моста!
Сыпь деньги на свадьбе, сыпь в середку расстеленного
холста!

Приснится месяц —
родится сын;
приснится, что ешь огурцы, —
напрасные хлопоты.

Кует кузнец на земле и на небе, дятел кует неспроста.
Сыпь деньги в могилу, сыпь в домовину, чтоб ночью
бродить не стал.

Во сне молоко покупала —
с детьми согласье.

Мне Маружа, как уголек притихший в пепле, в вечерней
мгле. Чушь? Разумеется, чушь. Но — вспыхни, впахни
уголь в золе!

Бред? Разумеется, бред. Шутовство.
Но метлы
шуршат у стены.
Я бы спросил. Но спросить у кого?
Все ведьмы
давно сожжены.

* * *

А злыдни все копят завиду, все шито и крыто.
Порог — и Первуха, споткнувшись, ломает копыто.
А Вторушка — прыг через ров, вот свернула бы шею.
Вдруг вымя огнем — у Середки, спасла ворожея.

Что это — ест землю и жерды грызет Четверица.
Пятену все водят к быку, а не станет телиться.
И только Шестуха здорова, надейся на милость.
Так нет же — схватила картоху побольше
и враз подавилась.

И, видно, недоля не в силах к добру измениться.
Пришло воскресенье, и кровью мочится Седмица.
Я в хлев — и откуда — торчком заржавелый гвоздище.
Все злыдни — злокозны творят. И напасти нас ищут.

Все — бегом и сломя голову,
только жаворонок в небе недвижим:

вот какие дела
вот какие дела
у отца моего
серебряное сверло
серебряное сверло
серебряное

И камешком вверх:

выдолблю выдолблю мельничку
выдолблю небесную мельничку

И камешком вниз:

долото уронил
долото уронил

Бесхитростна птаха!
Мы ведь тоже горазды
строить небесную мельничку,
но, обронив долото,
не признаемся, талдычим:
выдолбим, выстроим мельничку!

А когда за дело пора,
двое-трое долбят,
двадцать три ротозея торчком торчат —
и хором:
выстроим мельничку!
Выстроим мельничку!

* * *

Слушаю голос кукушки —
вечная песенка.

Он:

кыш высиживать
кыш высиживать

Она:

а кому куковать
а кому куковать

Эмансипация в певички выбилась,
да осталась
в отсталых.

* * *

Только дикий голубь кручинится:
старайся не старайся —
у курицы выводок, а у меня раз-два
и обчелся.

Ленив и гнезда не построит,
горстка хвороста — вот и высиживай.

Строит гнезда поселок
роскошные,
только писка птенцов не слышно.

- Потому что холодные задницы, —
заявляет Рудис.
— Видишь ли, пока самка в гнезде, самец
ей приносит еду.
— А ты сможешь чего раздобыть, пока я
стану высиживать? —

осведомляется Айна.

Рудис молчит и думает: ну и стерва.

Самое время теперь объявить
во всеуслышанье — сколько лежит на книжке.

* * *

Однажды сообщила Айна:
— Весь, подчистую — комбикорм...—
И я подумал: не случайно
нет рифмы — только комбикорм.

Но промолчал. Кому охота
молоть на ферме чепуху.
Ведь у меня своя забота —
не превратить бы речь в труху.

В намокшем сене тлеет плесень,
и в речь гнилой пожар проник.
Мелеют повести и песни,
оскудевает наш язык.

* * *

А я вожу телят в вагонах
из Латвии в Узбекистан.
«Вам хорошо — скота в загонах
не счесть. Привольные места».

Узбек телячий паспорт в руки
с благоговением берет:
«Гляди, у них все по науке,
всяк с паспортом, теля — и тот».

С благословения погоды
рожает щедрая земля.
Какие разные народы:
у нас — дитя, у них — теля».

Да, женщинам досталось нашим.
Труды считал — не сосчитал:
канавы тянут, сеют, пашут,
весь свет в окне — процент и вал.

И думал я: весна ли, осень,
сверхприбыль — нам один указ,
мы в жертву жен своих приносим.
Есть оправдание у нас?

В щете и суете, в мытарствах
откроешь истину шутя:
ведь это прибыль государству —
новорожденное дитя.

* * *

— Сегодня,— Аннеле я сообщаю,—
будем ловить облака.
Только нужно связать хорошую сеть.
Вечером
ты приходи пораньше.

— Да, но куда мы их денем? —
усмехается Аннеле.

Некуда деть облака —
невероятно,
такого случиться не может.

* * *

— Что мне сделать для тебя? —
я спрашиваю Аннеле.
— Завернуть будильник в шарф
и сохранить теплое время?
— Нет,— говорит Аннеле,— всего три буквы. В! О! Т!
— Выжжены огнем тюльпаны? — Нет.
— Вокруг озера тропинка? — Да!

* * *

До краев полна Земгале.
Черный кот крадется
по капустному полю,
зеленый капустный лист
ненароком хватает его,
и кочан захлопывается.
Был кот, и нет его.

Пришелся я тебе по сердцу, Аннеле?
Улыбается Аннеле: закрой окно,
мотыльки летят и бьются о лампу.

Август

* * *

вечер словно лягушка
в лучах заката
пруд и затишье
зелено свято

возьмешь яблоко
возьмешь камень
земля отчизна
коснись руками

огромные дали
от птичьего звона
до земли где мышонок
да в мешке поросенок

огромная близость
мать и тихие речи
зеленеет и зреет
чуть согбенны плечи

банный вечер
связь пара и духа
не подвести не оступиться
шепчу я глухо

* * *

Не затвердели ржаные колосья,
а сойки уже верещат в орешнике.
Современные птицы не теряют времени,
до поры долбят скорлупу.

Вот у нас был сосед,
вспоминает Лизе,
ни за что не мог докормить свинью
до срока — глядишь, и прирезал.

Горько флоксы цветут. Ранним утром
захожу я в школу, дверь незаперта,
и пахнет свежеею краской.
Куст и стопка книг у окна,
здесь живет молодая учительница.

Вчера все окно занавешивали
нанизанные на нитку лисички,
сегодня их нет, кто-то ввалился в проем,
словно дождь в паутину,—
колышет ветер обрывки нитей,
а у бархатца под окном
голова с плеч.
(Я встал слишком рано
и не должен был этого видеть.)

Поднимается солнце повыше, она проснется,
кофе заварит
и снова закроет окно.

Скоро с каникул учителя вернутся
и безмолвие кончится.

Незнакомые девушки
пахнут подосиновиками.

* * *

Вечером,
как заноза, вонзилась ласточка,
и не вытащить, как ни бейся.

— Аннеле, есть у нас перекись водорода?

— Не дурачься,— отмахивается Аннеле.—

Все это выдумки.

— Но ласточка прилетела,— не унимаюсь.

— И лепит из грязи новое лепище.

Пойду помогу, у меня довольно слюны.

— Не вмешивайся в чужие дела,—

говорит мне Аннеле.

— А откуда у ласточки щербинка в хвосте?

— А? Это змея,— говорит мне Аннеле.—

Но давай условимся,

что ты скворец и у тебя свой скворечник.

И дела нет до вертихвосток.

* * *

Вчера на хуторе родился ребенок.

На два ока богаче мир.

И все сначала:

азбука,

яблоко,

облако...

* * *

Хутор «Цинтыни» жил без огня,
девка-перестарок, как тлеющая головешка,
с тех пор как расстреляли того парня —
никто никогда!

И на какой неведомой кочке
проклюнулась клюковинка?
Затяжелела дочка.
Мать вздыхает:
— Опамятовалась.

* * *

На хуторе «Дагли» две одуревшие мухи.
Мотоцикл гоняют.
Старухи померли,
отдыхают в сырой землице.
Большие деньги оставили —
в долларах!
Вот раздобудут такого, как Кеннеди,
чтоб пацаны рождались
с пробором на левую сторону.

* * *

А «Тупениши» — «Бульбочки» — всем хутором
подались в город.
Теперь именуются корнеплодами.
Квартира тесная,
детей отложили на следующую пятилетку.
А здесь, в старом доме,
стекла повыбиты.

В покинутом бабкином сеннике
что-то шевелится,
куница жилище устроила.
Куницы простодушны по-прежнему,
эмансипация им неведома.

* * *

Зато процветают «Бриедиши».
Выгоняют розы в теплице
и везут на рынок.
У Милды вечно руки в царапинах,
так и кажется —
и наследника принесет
в терновом венце.

* * *

Гундар пьет «Гурджаани»,
говорят, неплохое вино,
тянет с утра до вечера.
Сухое.
Кислуха.
Телячье пойло.
Жена ничего.
Подходящая.
Оба — пара что надо.
Только девчонки рождаются
убогонькие.
Соседи усмеваются: — Это не от Гундара,
это от «Гурджаани».

* * *

На хуторе «Межмики» дети
бледны и вялы,
весной они никогда не едали зелени.
Щавель годится только скотине, уверяет отец.
Ревень-кислятина не для детей, вторит мать.
Ни цветочка весной в «Межмиках»
для детей.

* * *

А Румбенис пребывает в уверенности,
что дитя с малолетства
надо учить на мастера;
всю зарплату
он тратит на покупку часов,
мальчишки
загоняют гвозди в будильники; ничего,
позже это окупится.

* * *

Спит село. Моя рука — в ладошке
детской. Над землей туман встает.
Дети, дети... Не узнал, не дожил.
Тот неведом мне круговорот.

Куропатка-мать кричит тревожно,
а птенец в моих руках притих.
Зашуршат колосья осторожно —
слышу я шаги детей своих.

Мой зеленый колос, синий цветок,
вечером спешу тебе сказать —
долго ль нам с тобою жить на свете,
как глядеть нам вечности в глаза?

Вслушайся в их голоса под вечер,
кто во ржи звенит — и слышим мы.
Именем цыплячьим и овечьим
позови их, вызволи из тьмы.

* * *

И вправду, если уж мы — игла,
то дети — острие иглы.
А старые люди — игольное ушко,
куда вдевается нитка.

Какого черта пытаться исправить мир,
штопать жизнь и ставить заплаты,
какого черта колоть понапрасну этот белый свет,
если в игольное ушко нитка не вдеа.

* * *

В самом деле, у цепи наименьшее — три звена.
И то — на что годен такой обрывок?

Отцу досталась в наследство цепь от часов.
Но прокатился фронт над домом
и прихватил цепочку.
Где-то бродит она среди чужих наречий
и думает
по-латышски.

Повезло соседскому Янке,
его отца
не обворовали в тот раз.

* * *

Бабушка?

Вот рука, бабушка,— большой палец.

Ни тарелку поставить на стол,

ни посуду помыть

без большого пальца.

Ни кружку взять,

ни воды напиться

без большого пальца.

Попробуй ножницы ухватить

и скроить подвенечное платье

или саван холщовый

без большого пальца.

Дедушка тоже большой палец.

Куда взберется мальчишка без большого пальца?

Как узнает, зачем топор — без большого пальца?

Как покажет кукиш?

* * *

Семьи как длинные лодки в лагунах вечности,

жизнь одного человека — коротышка-ялик

в своей скоротечности.

Когда в одинокой лодке поколение одно —

на дно.

Семьи, как длинные лыжи, несут человечество

по бесконечным снегам бытия в небытие

и снова — в младенчество.

Если семьи в три и четыре колена

протяженность свою сберегут,

мы не утонем в снегу.

Чем длиннее стрела, тем уязвимее бесконечность,

вернее полет и точней попадание в вечность.

Во вселенском котле, что кипит и вздыхает,

выдувая в пространство пылинки и споры,

семья моя, род мой —

точка опоры.

«Похоже, Даце в эту ночь родит...» —
она сказала — будто между прочим
воткнула мошку в небо между звезд.
Но те слова из той возникли глуби,
где все темнее, бархатистой, мягче,
чем эта ночь. И я молчал, опешив.

Покой густел. Тяжелою рябиной,
кузнечиками — это тоже тишь.
Ведь все в ночи способствует покою.
Мы ждали — тоже были тишиной.

«Похоже, Даце в эту ночь родит...»
И вновь другая мысль подспудно зрела:
«Ты из иного мира шел
и в мир другой вернешься».

Так ельники березу вытесняют,
ни свой я на опушке, ни чужой,
ни тот и ни другой. Здесь сиднем камень
сидит, и рвется жаворонок ввысь,
здесь пахнет в праздник вянущей березой,
и ива здесь печалится от века,
цветок наивный здесь «разбитым сердцем»
зовут, а я зовусь все так же —
ни свой и ни чужой.

Я в этом мире зеленом по уговору хотел остаться, чтоб
яблоням быть опорой, пусть дни мои — во ржи, в овсе,
как все, как все, с заботою — мясом и хлебом, с думой
о пашне и ниве под небом,

но молоко
собрать хотел я воедино,
как ленту, что записана в прапамяти,
но временем разорвана, разъята.
Собрать от каждого по лоскутку,
по малости, по запаху, по звуку
и по забытому колдовскому слову.
Все это — песнь, она неизмерима,
молитва предков в ней о наших душах,
урок мудрейший:

кормит мать дитя
свое, она покормит и чужое,
и хватит молока.
А для Земли
и возвращенье молока,
и воскресение —
спасение.

Да, в каждом сохранился
обрывок древней песни молока.
Когда услышишь эту песню,
в себе самом ищи тот отголосок.

Но сено вдруг зашуршало, она спросила:
— Будет лето твое спокойным, как наше?
Не потревожит дорога и березовый ветер?
Жасмин по ночам станет роптать на судьбу,
мол, в саду ему тесно.

И ты как ни в чем не бывало и хладнокровно
будешь слушать далекий смех вечеринки?
И останешься дома? А если нет, то вернешься?
И знакома ль тебе вообще дорога
назад?

— Да, я знаю эту дорогу.

— Ну нет, ты ж не веришь, что облако
пятится.

— Нет, я не пух на ветру!

— Разумеется, ты и удар против ветра.

Но все равно — против ветра или по ветру —
ты от ветра зависишь.

Мы же стоим на ветру и выстоим,
мы выстоим, он для нас
ничего не стоит.

Мы его не замечаем, для нас
он только воздух пустой.

Он нас не тревожит, не будоражит во сне,
не жалуется и не жалуется.

Он для нас, словно камень,
туман, или снег,
или огонь на плите.

— Нет, ветер — нечто совсем другое...

— Ах, глупость! Ветер,
как приятель назойливый, вечно —

только мы сядем спокойно
есть свой хлеб, и спокойно
пить молоко, и спокойно
станем ложиться спать,
вечно он тут как тут.
И только он свистнет под самым окном,
ты вскочишь. А я не из тех,
кто упрашивает, чтобы остался.
Кто с ветром водится,
в доме моем не заводится.
Не по мне вертопрахи, ветрогоны,
ветрословы, ветреники.

— Нет, ветер — нечто совсем другое.
— Другое, да. У тебя золотое блюдо. Все равно,
пустое ли, полное ли, но золотое,
из него ты ешь.

— Я ем лягушачью икру из канавы
и хлеб из рук прокаженного. Не блюдо,
мой язык из золота,
из золота горло — поет, кричит и стонет,
из золота скверна и брань.
Но я покоя ищу...

— Здесь покой, но не твой. Мой
покой и чей-то еще. Ветер
станет покоем? Пене
в водовороте понятен покой?

— Ты станешь моей плотинкой.
Я стану спокойным озером
с тихим зеркалом и огромною силой.

— Зачем?
Зачем мне быть скалою в зубах потока?
Если я долина в садах,
где дети спокойны и хлеб
спокойно растет.

В ту ночь о ветре мы больше не говорили.
Молчала ночь. И пахло зреющим ячменем,
горела рябина так сильно, что вдруг сквозь темень
обрушилась горечь дубовой корой на меня.

И было слышно: луковица
разрывает землю с треском.

— Не уходи отсюда,— сказала мне тьма,—
не оставшись здесь.

Я жаждала покоя, как сосновая шишка, избитая
ветром.

Она опускает голову ниже
и упрямо твердит:
такова жизнь.

Господи боже, она забывает
по вечерам поклоняться звездам.
Она не желает из светлого звездного миллиарда
выбрать единственную.

О боже, рубите себе свекольные листья
в свином корыте,
но не забудьте — вслушайтесь: ветер
запах втянул и чихает,
вокруг и рядом
все живет и жизнью ветра,
и волшебно играет солнечный луч
в поросычье щетине.

И вдруг вы заметите:
осина вас дразнит,
на ветру язык наизнанку.

Угасающая головешка
вдруг тренькнет, как мандолина:
может, где-то плачет
старая дева.
Мчится крыша куда-то ни свет ни заря,
окликают кого-то дверные петли,
о небо, нужно жестокосердым быть,
чтоб не слышать птиц,
горящих в плите!

Но Аннеле забывает
по вечерам о поклонении звездам.
И твердит: такова жизнь.

Ветер

К солнцу деревья привыкли,
солнце добродушно,
добродетельно солнце,
солнце видит лист с лицевой стороны.
Чему удивляться,
если деревья тревожит и радует
приближение ветра?

Ветер читает лист
с обеих сторон, с лица и изнанки.
Ветер обнажает потаенные страсти,
инакомыслие,
ветер раздувает
дерево, как угасший костер.
После нашествия ветра
деревья выглядят
много моложе.

* * *

Подкладочно-изнаночный ветер,
перевертыш-ветр, ветер-оборотень,
подоло-юбочный вихрь.

Даже крот в подземелье
мех оглаживает
и сетует, что запылило глаза.

Вероятно, и солнце в море
на гребень вздымается и падает в бездну —
восходит, заходит.

* * *

Спокойное поле ржаное разбушевалося.

Это искусство —
бег души на месте.

Природа учит нас непостижимому —
бегу на месте,
так можно достичь невероятной скорости.

* * *

Ясно одно — не существует пустого воздуха,
воздух насыщен, полон до краев.
Ясно одно — березы движутся
с огромной скоростью,
недоступной нашему глазу.
Доказательство этому —
глубокий гул, от дубов исходящий.
А когда пробегает липа мимо меня,
за ней остаются безвоздушный клочок пространства
и обугленная пчела.

Застегнись, Аннеле, на все пуговицы и петли,
мы здесь останемся,
пока нас не выдует из одежды.
Гляди, ветер вырывает душу из облаков,
и швыряет о землю,
и высекает огонь.
Застегнись, Аннеле, чтобы из нас не выдуло
наши молнии.

* * *

Ни малейших сомнений —
верхушка древа свободна и может взлететь.
Нам только чудится,
что повторяются ее движения.

Неповторимо тонок ветровой отпечаток
трехсот восьми ветвей,
трех миллионов хвоинок —
бег по ветру.

* * *

Так пугающе ясен зеленый покой,
за холмом поворот.
Эта петля дороги и вечер такой,
он за горло берет.

Так мучительно чист
этот тающий зов
и пестра светотень.
Вот стрекочет комбайн меж ячменных усов
и глотает ячмень.

Чей-то дом и веранда. И вспомнилось вдруг,
что забыто давно.
Сели стулья пустые за стол в полукруг,
попивают вино.

Пахнут флоксы у школы, и ломит в виске,
пороастает былье.
Спотыкалась строка, двоеточье в строке —
были очи ее.

И рябина открыла свой алый тайник
и себя не щадит.
И старик лесовик тащит в дом боровик,
душу мне бередит.

Этот путь, этот бес, что вскипает на дне,
белой пылью слепя...
— Ну зачем, ну зачем,— шепчет Аннеле мне,—
ты изводишь себя.

* * *

Земля мертва, земля — труха и пыль
без ветра. Кличет вихрь и заваруху.
Сдувает ветер с ветвей и сушь и гниль.
И на липучку загоняет муху.

Смерть мухам. Но захватывает дух,
с пыльцой цветочной пыль несовместима.
Увешан мир липучками для мух.
Дрожит цветок от страха. Ветер — мимо.

— Ты снова смотришь мимо,— молвит Аннеле.

* * *

— Доверие?
Это значит —
двое обнесли жердями лужайку,
чтоб детям пастись.
Детям сызмальства
нужен загончик.

Наступит день, и ты отодвинешь в загончике жердь,
и в огромном зеленом мире
случай и случайности поглотят твоих детей.
Они творения наши,
они должны научиться
всему, что вокруг нас.
Первый урок —
обжить свой загончик.

— Ах, Аннеле,— я говорю.
— Разве это пастух, кто пасет в загоне.

Подумать только — я дразню Аннеле!

— Все земное — мое,—
говорит Аннеле.

— А вот скворец, он поет про Египет
в скворечнике на твоей сосне...
А струны рельсов, а песня рельсов,
она на дорожном звучит полотне...

— Нет, ты просто болен,
а у меня народятся здоровые дети,—
говорит Аннеле.

— А сны, а страхи при ночном ветерке?
А надежды румянец на твоей щеке?
А кукушка, подкладывающая яйцо?
А смерти страх, ледящий лицо?
А умирающая в медогонке пчела?
А бродяга неизлечимый без земного угла?

* * *

Невидимым видимое притворится.
Вот ребенок — свеча, что не возгорится.
Ехал в ночное хмель-пустозвон,
преступил он древний закон.

*

Невидимое видимо, однако.
Лежит в песок зарытый вояка.
Не геройство он спрятал в земную утробу —
свою злобу.

*

В неведомом невидимка я сам —
в моей крови оживает саам,
и кривич, и лив, и баронский отпрыск —
оттиск.

*

Ты думаешь: жизнь то прямо, то вбок,
то прыг, то скок, как положит бог.
Нет, ты засеешь незримый клин,
ты сам за него ответишь — один.

* * *

— Бабушкины слова,— сказала Аннеле:
«Мы в ответе за коромысло от плеча до плеча,
за воду от ведра до ведра».

Пусть жизнь тебя птичьим поит молоком!
Мы ответим за малую жизнь,
ты за большую ответишь!

Что поделать — я злю Аннеле нарочно, с умыслом...

— Я — не ты, я не могу
одной рукою сучья в огонь бросать,
другую гасить.

Ты это можешь,
ты творишь и тотчас сжигаешь,—

говорит Аннеле.

— Двусторонний твой мир,
двуетидный.

И я не знаю, чего ты хочешь.

— Это все нужно для селекции.

Я селектирую пепел.

Есть пепел победы
и поражения пепел.

Чем крепче сгорающий мир,
тем пепел сильнее.

Пепел — семя,
семя огня,
сильное и опасное.

.....

— Не знаю, может, и есть на свете огненное колесо
или это просто твои выдумки.

Можешь селектировать свои поганки,
я сею пшеницу.

Ты можешь себе позволить посвататься и к юродивой,
я же выращиваю здоровую рассаду.

Ты растешь иначе, чем мы,—
рывками.

Ты соловья пугаешь,
и он боится потом рассмеяться.

Ты заблудился между свекольным листом
и стихотворной страницей.

* * *

Не могу представить себе философских детей,—
говорит Аннеле.

Все шишки вместе, вместе все хвоинки,
душой скотинка тянется к скотинке.
Растет дитя. На косяке — щербинки.
Кто в этом мире мы? Две половинки.

Земля благоухает пахнет смердит навозом машинами
мятой бегут муравьи по травинке примятой из глубины
колодца доносится зов глуховатый и бабушкин голос мы
вместе мы вместе я Аннеле твой провожатый и здесь на
поляне где заячий след в белене и дурмане мы вместе

* * *

А может быть, Аннеле права...

Что будет — тайна, из тьмы вещание.
Что было — исчезло, кануло в вечность.
А может, Аннеле — мое обещание,
мое начало; моя бесконечность.

Себя ты видишь ростком на грядке,
Ты плод на ветке — еще виденье.
Ты гриб находишь под рыжею прядкой,
ты держишь в ладони осенние деньги.

Вот липовый мед — запечатаны соты.
Вот вереск цветет на пчелиной дорожке.
Изнашивает пчелу работа,
истирает бархатные одежды.

О, этот вечный круговорот.
О, этот счастья смеющийся рот.

Осенняя свежесть последних трудов.
Осеннее шествие спелых плодов.

* * *

Сохранить, сохранить, сохранить
эту жизнь круговую и нить!

Превращаются в облако тина и грязь,
Проливается облако, не утолясь.
Из меня — из сосны
где-то вырастет дом
и забудет меня и не вспомнит потом.

Сохранить, сохранить, сохранить
эту землю живую и нить.

Как медный колокол, вечер
над желтым стожком ячменя.
Нет слов и выразить нечем,
что ты — для меня.

А в Латвии осень, стреляет горохом,
капустный смеркается лист.
Шов лопнет у сливы, мрак ляжет со вздохом,
приснится мне Валдемарпилс.
А в Латвии осень, и в сердце теснится,
цикады печально звенят.
Как будто я конь, на съеденье лисицам
в ночное пригнали меня.
Но есть еще время валяться в тумане
и тихо бубнить в полутьме.
И кто-то мне теплую руку протянет,
и сахар достанется мне.
Тот белый туман, тот туман над бескрайней
над далью — чью прячет вину?
И месяц багрян. Как в преданьях и дайнах —
где братья идут на войну.
Где ночью сиротку уводят сторожку,
в безлунье уводят к венцу.

И Лайма торит светлячком ей дорожку
к крыльцу, к крыльцу...
Умолкли кузнечики, травы росисты,
и ночь почернела, как пес.
Звезда загорелась, и, видно, нечистый
болотами свечку унес.

Мне зябко.
И время ко сну и прощаться,
звезда над сараем бледна.
И нет никого, о, кому бы признаться,
как мне бесконечность страшна.
Богата земля моя! Что ж среди ночи
стою, как бедняк, под луной.
Смешной, оробелый, дурной. И хохочет
душистый табак надо мной.

Сентябрь

* * *

Озабочен Месяц — задует фонарь...
Но ветра нет и в помине,
только легкое дуновение —

одинокو вздыхают
шипы облетевших роз.

Услышала вздохи ночная птица
и ночного жука наколола на шип.

* * *

Ели вырезаны из черной бумаги
и наклеены на небеса.
Месяц вырезан
из желтой бумаги
и наклеен на небеса.

Вечер такой,
что деревья
шелохнуться не смеют:
чего доброго, спугнешь летучую мышь
и та, всполошившись,
налетит на звезду.

* * *

В имени Кална имения больше нет,
только аллея длинная.
И вдруг она обрывается на краю пашни.
Вечерами — большой и желтый месяц,
как желтый конь.

Я люблю тебя со всеми цепями.

* * *

Смерти ли знак, увядания знак —
нет ни намека в седой паутине.
Буйствует жизнь, ей привольно и так —
в дегте мушином
и в чертовой тине.

Облако смехом заходится. Сам
облачно я бы смеялся, беспечно.
Алый художник бредет по лесам
с алой рябиновой гроздьё навстречу.

У муравья и душа латыша —
в небо пешком. Невесомо касанье
хвои, не чувствует смерти душа,
нет ни пророчества, ни предсказанья.

Месяц, дурачась, затыкал на пса,
пес от восторга завел по-собачьи.
Смех мне, и только.
Но вдруг в небесах —
знак. Соберусь.
И уйду.
И заплачу.

* * *

Илдзе прислала письмо.
«Запах яблок возник у порога.
Под стрехой потянуло медом.
У крыльца повеяло мятой.

Нос задрался к небу и обнаружил
луну, большую и круглую.
И объявилась мысль:
пора бы замуж.

Ухо слышало все:
стук упавшего яблока,
молитву вечернюю иволги
и всю ночь сторожило
чьи-то шаги».

Октябрь

* * *

Мимо идет тыквеноч.
Куда? — я спрашиваю.
Он в ответ: я и так все лето
проторчал на навозной куче.

* * *

Силинь слушал сводку известий, и ему не
терпится поговорить о войне.
Я подумал: все мировые проблемы можно
решать здесь же, на свиноферме.

Что за беда, что за напасть,
если одним поросенком больше,
чем сосков у матери.

1) Отвергнутый, отторгнутый, отощавший,
отставший в росте, он обречен стать нытиком,
он завистник и сплетник: свинья, он говорит,
она меня не признает своим ребенком,
о тех двенадцати горлохватах
и говорить не приходится,
единственное утешение —
их зарежут первыми.

2) Эту дюжину самому и нарезать!
Отравить соски, пусть сосут и дохнут! Своих
обожравшихся братьев увидеть дохлятиной...
Растет суперсвин. Жестокость рождает
жестокость.

Растет свин Геринг.

3) Он ничего не может, он в этом мире
лишний и осмеянья достоин, он страшится
любого нормального поросенка, он смирился
и верит в свою неполноценность.

Если же каждый день рождается лишний и ему не
хватает соска —
кто в ответе?

Свинья возлежит преспокойно,
будто про тринадцатого знать не знает.
Двенадцать братьев, наловившись, первыми
лезут в троллейбус.

Одна из трех бед:
завистник, садист или нытик,
мещанин, фашист или раб.

Должна же найтись свинья,
что другим законам обучена
и кормит тринадцатых.

В этом Мире Главного Мясa
за себя исступленно борется
главная заповедь —
закон молока.

* * *

В царстве скатерти-самобранки
ни колбасных нив, ни ветчинных гор,
только мед и молоко.

В этом сказочном изобилии —
некая целенаправленность,
вероятно, в нем сама суть.

* * *

И все же?
Да, первобытные люди
охотились на коров
и только потом
догадались коров доить.

Это только доказывает,
что закон молока
прививался с трудом
и долго.

(Я должен продлить
бессмертие старой Маружи...)

Сотворение молока,
возникновение,
не просто явление в мир молока.

Мать — распахнуты очи во тьму,—
мать творит молоко.
Это так,
будто думает неотступно, как ребенок
будет одет изнутри.

Будет ли сыт:
пусть не вырастет сын мой обжорой
пусть довольствуется немногими
женщинами
в этом мире

дай боже одной
пусть не обирает
всех женщин в своей округе
у всех матерей сыновья
всем нужны
чистые жены

Будет ли крепок:
пусть не стыдится
спросить в кабаке
стакан молока
смельчак заходит в корчму
и молвит
мне материнский напиток

Будет ли совестлив:
пусть ему иногда доведется в жизни
опустить глаза

* * *

Ука корове своей цветы-цветики сыплет в корыто,
чтоб угодить Покровительнице молока.
Ика в коровьей бадье кочергою мешает сердито —
будет корова как прорва, другим ни глотка.

Ика взяла и ширинкой рога повязала корове,
пусть о быке ей напомнит коровья тоска.
Ука своей — головастиков, ешь на здоровье,
чтобы искала быка, ведь не ищет, лентяйка, быка.

Ика в коровнике крутится да не теряет надежды,
кличет соседскую девушку кровь с молоком.
Девка, в чем мать родила, на солому швыряет одежды,
и тело ей лижет корова шершавым своим языком.

Сядут зимою в сугроб — а примета такая:
глубже проталина — телка, помельче — бычок.
Ряженым смех и забава, девчонок в сугробы толкают,
Ика проталину греет — сидит, и молчок.

Ука впервые свою перводоенку доит,
чтоб раздоить — сквозь кольцо обручальное
первый удой.

Ика молозиво выльет в ручей и смешает с водою,
будет корова ведерница, но у нее у одной.

Она одна не завидует. Она одна не ведьмачит,
холит своих и светло на соседского смотрит телка:
— Мне б не худую скотину, соседям еще побогаче,
пусть так велит Покровительница молока.

* * *

Божья коровка
обитает в небесном коровнике,
о подойнике слыхом не слыхивала.

На привязи в земном хлеву
ть ее,
молоко творящая.

В той островерхой хижине из стройных
стволов еловых — глинобитный пол,
а посреди горшок, зарытый в землю.
Там, вдалеке, жилища, и поля,
и росчисти. Здесь дрем и моховина.
Безлюдье.

Ружа здесь варила зелье.

Забрел однажды в эту глухомань
монах немецкий с библией, с распятым,
глядит: коровье вымя уж сосет.
Схватил потолще сук, перекрестился
и странного ужа убил на месте.

Да, было так. Однако непонятно,
как Ружа все узнала в тот же миг.
И, выбежав из хижины еловой,
в отчаянье она заголосила:
«О Матерь Молока, О Матерь Млека!»
И молоко из мертвого ужа
сочилось, тотчас впитываясь в землю.
Прекрасный уж с ушами золотыми...

И вопль раздался в дальнем поселенье:
«Беда! Убили Матерь Молока!»
И как набат во времена иные,
от леса к лесу плыли голоса.
Немудрено, была в общине каждой
хранительница черного ужа.
И плакальщицы к Руже потекли,
и вопленицы влажною травую
ужа кропили, горько причитая.

Своей коровы Ружа не держала,
но ведала молочным колдовством:
ей стоило ножом горшка коснуться —
и выползали жабы и ужи

из нор, щелей, укрытий и подполиц
и срыгивали в глиняный горшок,
что высосали у коров окрестных.
У Ружи было молока — залейся.

А монах в святой Рим написал донесенье:

...Первые из литвинов, что были встречены мною,
поклонялись змеям (приручали их),
каждый глава семьи держал в жилище змею,
кормил ее и, когда она в сене кольцом свивалась,
пожертвования приносил.

Монахи много чему научились: скажем, жаб
подбрасывать на дощечке, словно качели дощечка,
на одном конце жаба, хватъ камнем с размаху по
другому концу, летит божья тварь к небу и плю-
хается на землю, и — мокрое место. И в землю
впитывается молоко.

И писали монахи в Рим:

...Этот иноязычный народ, нелюдь, немцы,
и поныне поклоняются идолам, обожествляют солнце,
луну, звезды, огонь, воду, реки, почитают богами
ужей и мерзких жаб, кои даже при беглом взгляде
всего-навсего тучные вздутые твари.
Стоит их расшибить о землю или раздавить,
из тел их молока вытекает премного.

Во время войны офицеры немецкие ели за нашим
столом, пили наше молоко и, насытившись, рас-
слабляли ремни и пускали ветры, нам, детям, было
так стыдно, нам, детям, никогда ничего подобного
не позволяли, а у них, как оказалось, это в обычае.
Нетрудно представить, и немецкие рыцари во
время застолья портили воздух. И монахи, разу-
меется. И писали в Рим:

Ужи были ручные и смиренные... даже дети играли с
ними... И спали они в колыбелях детских и ели
вместе с детьми из одной плошки.

Их в ярость привел чужой непостижимый закон чистоты. Поначалу они убивали ужей и рубили священные липы, потом приступили к сожжению ведьм. Но тайна осталась тайной.

И писали монахи в Рим:

...известно доподлинно, что ужи и жабы сосут у коров молоко, но в секрете колдовское искусство, когда по велению приручителя своего несут они молоко в горшок, собирают, охраняют и отдают.

* * *

Мглу молока, как мглу тумана,
люблю и с детства к ней привык.
Но изумлен иным и странным —
небесным млеком мой язык.

* * *

О эта хворь — беречь и опекать...
Заботиться и собирать в дорогу...
И глаз потом с дороги не спускать...
О, только смерть излечит ту хворобу.

А той наимудрейшей из планет,
а той звезде в созвездье Водолея,
не может быть, что им и дела нет,
добрей мы, беззаботней или злее.

Такое предчувствие: быть не может, что там мне
позволят печься о свете, рассаживать его и возде-
лывать и, пот утирая, воду таскать и поливать
солнце, не перегрелось бы.

Не может быть, что во тьму не
удастся вживить хотя бы одно окно.
Не может быть, что я не увижу в этом
окне нечто такое — и в изумленьи застыну.

Ах! едкий пот мне глаза ел —
я хорошо вижу.
Я был на выучке у большой заботы,
я и там буду сеятель.

* * *

О, только бы у моей звезды
не рождались щепки.

* * *

А если вспомнить и признаться —
я не умел пасти коров.
Чего бы им слепней бояться,
так нет же, с ревом через ров,

задравши хвост, не зная броду,
то зной, то пыль, слепень, репей...
Не понимал я — от природы
не ямб им свойствен, а хорей.

Я их гонял, я лез из кожи
в бессильной злобе на слепня.
Они не гневались, похоже,
они дивились на меня.

И падал я ничком на травы,
гудела подо мной земля —
они меня жалели, право,
как бы родимое теля.

И тут мне впрок пошла наука,
пускай их — я махнул рукой.
И кончилась пастушья мука.
Смолк кнут. И наступил покой.

Смолк пес. Пасутся на свободе
и щиплют клевер и пырей.
Я наконец-то вял природе —
не ямб им свойствен, а хорей.

* * *

Днем я сплю
и вижу во сне, как они работают,
и вины не чувствую,
и лентяя не праздную.
Я ночью выращиваю слова,
таково мое предназначение,
из огромного стада подтекстов
свою вывожу породу.

Наевшись днем,
ночью корова жвачку жует.
Ночь — желудок,
осмысливающий
все, что днем заграбастал
неразборчивый, жадный,
ненасытный язык.
Луг спит, и косцы уснули.
Грудится ночь.

* * *

Лиловый цветок картофеля,
чертово яблоко, дурман, белена —
все пасленовые, полуночники,
ночью мои единомышленники.
Откуда эти голыши, эти клубни,
эта семья у корней?
Из ноченьки, невидимки,
непрогляди.

* * *

Песни пели, перепели,
Бычью песню позабыли;
Пойте, девки, бычью песню,
Молоком отдаст коровушка

тот нежный зверь
в ноздрях дразнящий ветер
исчез? следов цепочка пролегла

что крикнул кол
что нож ему ответил
что пела в цель летящая стрела

тот нежный зверь с его касаньем робким
что камень рек? в ответ в безмолвье знобком
счастливый плач разбитого стекла

Сосушее дитя быка, дитя кота, дитя собаки.
Я пес. Сосут мои щенки-кусаки.
Я волк. Сосет мой выводок в лощине.
Мы все млекопитающие ныне.
Кто рыщет, кто крадется, кто косится?
Вынюхивает след в траве лисица,
петляет заяц и уводит от беды.
Да, я отец. Я спутаю следы.
Все стадо — круговой порукой и опекой,
чтоб защитить питающую млеко.
Пора разгневанных быков и крепкого копыта.

Детеньш слаб. Отец его защита.
Мать-медведица —
млекопитающее,
оттого и медведь отец
в млекопитающие зачислен.
И самец косули,
и еж ежихин
награждаются этим титулом.

Соплеменники, соучастники,
когда сосет сосунок.
Только тронь —
дыбом шерсть и зубы в горло.

* * *

Моя ли звезда упала,
мое ль расколось имя?
В мир явился теленок,
коровье нащупал вымя.

К счастью, и мне не дремалось,
что-то творилось со мною.
Шло сотворение мира
в хлеву за стеною.

Все в мире жило и дышало,
творилось всеобщее чудо —
зверюхи, лягухи и птахи
рождались, теснились повсюду.

Корова жевала с достоинством,
корова мудро молчала.
Хотелось еще раз родиться,
чтоб все сначала.

И мы с тобой Путем уходим Млечным.
Переступаем вечности порог.
Идем путем телячьим, человечьим,
единственной из ведомых дорог.

И толпы одуванчиков беспечно
бесшумным пухом к облаку взойдут.
Уходит Цезарь твердым шагом в вечность,
и ты за ним вослед уходишь, Брут.

А ночью стук —
Иосиф Виссарионыч?
Теперь ничто дороги не затмит.
И только сердце глухо ухнет в полночь.
А Сталинград? Как и стоял — стоит.

Не только нам — в соседстве, в мире слезном
не избежать, не отвести беды.
И Млечный Путь своей ладонью звездной
сотрет к утру кровавые следы.

На троне Индра восседал великий,
и двое рядом — боги и владыки,
и восемь хранителей мироздания, и
сорок девять марутов — божеств
ветра, бури и молний, и сыновья
Земли — коровы Притхиви, и восемьдесят
восемь тысяч мудрецов —
на троне Индра восседал великий,
и двое рядом — боги и владыки,
и молвил Нарада — и полубог и жрец:
я вижу землю из конца в конец —
нет на земле достойнее царя,
чем Викрам — мудрым он прослыл не зря.

В ушах богов землянину хвала
сомнительною дерзостью была.

Тут поднялась Камадхену, Корова
Благоухающая, и молвила: ничего
удивительного, ведь гласят письмена:

Природе щедрой, аскетизму, мужеству, знаниям,
хорошему воспитанию и житейской мудрости нечего
удивляться: несметны земные сокровища.

Тебе, о Корова Камадхену,
и в бренности и в вечности деяний
доступно исполнение желаний,
и если впрямь сокровища несметны...

Так отчего ж
не осчастливить смертных?
Приемлешь бытие невозмутимо,
не оттого ли все — что в цель, что мимо,
что движет рок иль разумеет разум —
по твоему свершается указу?

Черный кубик катаю в квадрате пустом —
вероятность судьбу указывает перстом.

Угощаю убийцу за белым столом —
вероятность меня осеняет крылом.

Сладкоречье отраву сластит за спиной —
вероятность расправу вершит надо мной.

Я швыряю монетку, ловлю на бегу,
сколько за, сколько против — сказать не могу.

В этом смысл протяженности — равный итог,
разгадал человек этот высший намек.

Может, в этом разгадка всего бытия —
отчего — ни бессмертья, ни власть жития:

если только продлить человеческий путь,
все сравняется вмиг. Ни судьбу упрекнуть,

ни за счастьем гоняться, ни звать, ни гореть.
Всем одно без усилий достанется впредь.

Может, в этом и спрятана тайна земли —
наши сроки земные продлить не смогли,

чтоб надеждою жить, чтобы чахнуть с тоски,
оттого нам неравные делят куски.

Угрожай, проклинай, умоляй и божись —
коротка, коротка, коротка наша жизнь.

Не успеть уравнять — мир устроен хитро —
на весах справедливости зло и добро.

О Корова,
бездонен небесный сусек,
удлини, удлини человеческий век!

Вдруг смысл теряет мое поклонение вечное
корове. Течет равнодушие млечное.

Вокруг — огромное равнодушие,
ни оскомины, ни отдушины,
ни опасения за поле осеннее,
ни соломинки —
во спасение.

Равнодушен вечер несносный,
и в конском яблоке
жук навозный.

И мед равнодушные осы воруют уныло.
И нож равнодушно кусает точило.

И источает бездушно румянец недужный
осенний клен. И душат меня равнодушно.

И светит светило умеренно, себя не растрчивая.

Я — единственный —
страницу переворачиваю.

Бездушны — и воздух отравленный, и чистый воздух
таинственный.

Я человек, я против —
один на один с равнодушием —
я единственный.

Природа — сплошной зеленый и темный сон,
и редки костры,
хранители света в дремучем безвестии.

Человек. Миллиард-другой. И еще латышей миллион,
сто Анн среди них, сто Илдз
и Юрисов — двести.

* * *

Покуда рыж, как медь,
теленок в рыжем чреве,
вы можете успеть,
вы можете посметь.

И в треснувший кувшин
цветок вселите снова,
и в скованность души —
несказанное слово.

Наполнить ваш черед
и дом, и Путь ваш Млечный,
и землю, и народ —
непреходящим, вечным.

Покуда изнутри
ночь тушью звезды метит —
спешите сотворить,
чего и нет на свете.

* * *

Плюхнулся я в дерновину,
в паклю жнивья —
земля приняла меня
в свои сыновья.

В колосках и в травинках
путались пальцы —
земля приняла меня
в сострадальцы.

Дали рубаху белую,
пояс потуже,
стог навиваю —
назначили мужем.

Роса за туманом, туман за росой,
дни, ночи —
вот я отец,
вот я отче.

Теперь твоя очередь,
твержу я сыну.
Откуда ты взялся,
шлепнулся в дерновину?

Дерево

Будь ты собакой —
и тогда без дерева не жизнь, ну как поднимешь ногу;
в разлив — что утопающий без щепки?

Моей лопаты время
настало, час моей ступни — вонзаться в землю.
И яму рыть и корни сохранить.

Стою под яблоней,
под яблоневым снегом,
и яблоня меня
цветами осыпает, слезами оmyвает.

Я утром здороваюсь с топорными детьми,
и дети топора
растут с детьми моими вместе.

Черемуху я посадил, поется в дайне,
о боже мой, я посадил черемуху
да в глинобитный пол! —
вот выросла черемуха,
о боже, а у черемухи той Лачплесис
и девять сыновей у Кокнесиса.

Черемуху вырвали,
ой, ой, с корнем да из земли родимой,
посадили черемуху,
о горе мое, на краю света.
На краю света —
не жаль мне, пусть растет черемуха
с девятью ветвями!

И все же
под яблоневым цветом
я говорю:
копай, лопата, землю, здесь деревце сажай,
чтоб привязать коня,
чтоб род свой привязать и — крепко — родину свою!

О запах увяданья,
ветвь срубленная украшает вход,
но корни — кто о корнях подумал?
О детки наши ветки!

За что же
мне уцепиться в половодье, как лодку привязать?

На солнцепеке
жевать свой подорожник-хлеб?
Где тень?

Сажайте дерево!
Ломает плод родную ветвь,
ломает висельник свой сук,
где дерево растет, там треск стоит.

Сажайте дерево,
ведь саженцы — хвостатые кометы,
вонзаясь в землю, звезды
творяют историю, и веру, и легенды.
На зорьке,
на зорюшке взлетает солнышко на иву алую,
а юноша,
кто это дерево ушел искать, уже старик.

Все верно, пусть —
там в дальней дали древо-зареве,
но ведь и здесь
без дерева не жить.

Вернется молодец,
где дома привязать коня? Где коновязь —
один кустарник-недомерок
да пустырник.

Не обдели, о боже,
когда я поплетусь из кабака,
оставь мне деревце,
мне деревце, чтоб удержаться.

* * *

О хляби, хляби родные,
черное тесто болота!
Березы святые, земные,
органных труб позолота.

Не забыть, не обидеть
листка золотую повесть.
Мог не писать, да не выйдет,
имей совесть.

Стол

Великое создание — ты САМ.
САМ во главе стола отец. Ян, не вихляйся:
сперва колено вывинтишь, гляди,
а там, кривляка, вывихнешь и челюсть.
А хлеб! Как ты кладешь ломоть! Ну где
ты видывал плуг лемехом наружу,
корову вверх ногами и корабль
вверх днищем? Положи ломоть как надо.

Сторожевая башня — стол. С той вышины
мы видим мир, когда мы все едины.

С того конца стола, где Лате села,
безумный Ека виден — сквозь года,
в далекой дали, глубоко-глубоко
на скрипке он играет, как всегда,
а карий глаз его — у сына Лате,
как бархатец средь синей пестроты.

А Юрис видит с места своего
поляка — матери моей он отчим, —
в голодный год вдове явился ангел,
и от голодной смерти спас детей,
и хлеб волок домой ползком по снегу.

Брат брата расстрелял. И вправду, Мик
на роковое место сел. Сидели
и алая звезда и черный крест
у нашего стола. А Мик? Он молод,
но он поймет — от века навсегда
звезда обозначает человечность.

И мир и стол — четыре стороны.
И с четырех углов лютует ветер.

Наш общий стол — наш духовитый крендель
по крошечке отщипывает люд.

Кто мир накормит, кто насытит мир?
Семья. Она бессмертна и бессменна,
все прочее хоть вылетит в трубу.

Она жива, в ней тайна возрожденья.

Отщипывают крендель по кусочку...
Из сердцевины вырастает стол.
Сродни долгоиграющей пластинке —
края обгрызло время, только центр
кружится, песню сызнава заводит.
Поймите верно — все наоборот,
песнь в центре зарождается. Все в жизни
от сердцевины к краю, не иначе,
все — от стола, все разрушает стол,
но в центре САМ, он удержать обязан.
Так в центре начинается спираль
и вьется — и неведомо откуда.

Стоит сторожевая башня — стол,
мы, заблудившись, с нею путь сверяем.

* * *

Ах, сладость тех волос. И ласки
телячьей мордочки нежней.
Как женское бедро из сказки,
спит месяц среди черных пней.

И первый золотой морозец
ползет с осенних луговин,
в саду последний лист коробит,
кусает белый георгин.

Я на ее тропе средь кочек —
кто надоумил, кто велел —
босой ступней на мерзлой почве
СПАСИБО — слово отогрел.

Я, как бычок, стою спокойно,
на запах молока пришел.
Сейчас меня загонят в стойло,
а в стойле — стол, рабочий стол.

Отныне добровольный житель
я в загородке. Но позволь,
я — сладкой свеклы повелитель,
тройчатки-клевера король.

Весной природа сбросит дрему,
засеют землю облака...
А я? Я допишу поэму.
Конец. Последняя строка.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЕРЕВОДЫ ДАВИДА САМОЙЛОВА

«Глянь, обе двери открыты...»	7
«Настырно, слишком навязчиво...»	8
«Начинается все со строки...»	9
«Оказывается, что чудо...»	10
«Мы утверждались тяжело...»	12
«Только промолвишь «живой»...»	13
С той и с другой стороны	14
«О боже, спаси меня от графоманства!..»	15
«Квадратен пес!..»	16
«Стыжусь, что жизни я не знаю...»	17
«Благодарю тебя за очи...»	18
«Иду с белым флагом капитуляции...»	19
«Ишь, снова болит, среди множества чувств...»	20
«Утро вечера, мол, мудренее...»	21
«Я полагал, что женщина одна...»	22
«У тебя ледяные глаза...»	24
«Я так тебя любил: неслышно, тихо, ясно...»	25
«Чуть ощущаемые туфли на ногах...»	26
«Клал бы печь — в нее вложил...»	27
«Ах, с нежностью я думаю о Вас...»	28
«Право, чту тебя, ворона...»	29
«Нас зарежут на заре — слишком рано, мол, запел...»	30
«Не унижайся до заразы, хвори...»	31
«Ночами вверх по скале...»	32

ПЕРЕВОДЫ ЮННЫ МОРИЦ

«Грянул выстрел в мое оконце...»	33
«Извините, что живу я...»	34
«Оброс я, словно шерстью, пустяками...»	35
«У камня подкладочка теплая...»	36
«Хотел бы я так обладать, приманить, привлечь...»	37
«Небесные зерна последнего света...»	38
«И снова с крыш летит капель, звеня...»	39
«Что я за камень дурацкий!..»	40

«Подметаю, клубится немножко...»	41
«Прошу я прощенья...»	42
Бабушка	43
«Люди высокого роста более независимы...»	44
«Какие мы хладнокровные...»	46
«Кому ты нужен с этой вечной жалобой?...»	47
«как мы возникли...»	48

ПЕРЕВОДЫ АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА

«Сегодня праздник, праздник у меня...»	49
«Как выбираютя листочки...»	50
«Смотри: девчонка полноватая...»	51
«Приходит звездный вор ночами...»	52
«Ни прошлое, ни то, что будет с нами...»	53
«В то утро я проснулся под столом...»	54
«Углем, углем рисуя...»	55
«О перьях речь веду...»	56
«Смелее как-то мы среди детей...»	57
«В спокойных сумерках приходи ко мне одна...»	58
«Женщина красится так, словно пишет стихи...»	59
«Приходит из гостей звезда домой...»	60
«Еще с предыдущего времени мною любима...»	61
«Ах, не проси, человек, не проси...»	62
«Когда к тебе иду...»	63

ПЕРЕВОДЫ НИНЫ КРАСНОВОЙ

«Мне, подумать только, выбил зубы...»	64
«Ишь, человечек соль на раны сыплет...»	65
«Делаю дни и минуты...»	66
«куда человек ушел...»	68
«Ишь, как мало вещи, в общем-то, живут...»	69
«Шишки смеются, легко наверху смеяться...»	70
«Березы на ветру, они на нас похожи...»	71
«Ты свободен. Вон даль заоконная...»	72
«Бросай перо, стихи, иди же есть обед!..»	73
«Выйдет слон к реке широкой, к устью...»	74

ПЕРЕВОДЫ ВЛАДИМИРА ЕРЕМЕНКО

Трагедия и тихий свет	75
«Пустыня одежд нас погребла...»	77
«Я страж мелочей. Пастырь незримых стад...»	78
«Посреди разбросанных букв...»	79
«Даже странно самому...»	80
«Ишь ты, как усталость царит...»	81

«На колесе, где ни оси, ни ската...»	82
«Легкие мостки к сумеркам от дневного света...»	83
«Эту грусть стоит использовать, ананас...»	84
«Отказ, друзья! Отказ! Что в этой весте?..»	85
«Всесильна в мире лишь молитва. Она...»	86
«Вновь слова требует ночь, зовет...»	87
«Именно это и мучит нас сейчас...»	88
«Серебряный венок. Серебряный путь...»	89
«Как-то по-осеннему легко из ветвей...»	90
Одно солнце	91
«Глянь, сердце, как недужный корень...»	92
«На горе несолнца...»	93
«Еще хоть шаг единый, пока темно...»	94
Две сестрички	95
«Связь нор...»	96
«Звезда — сечение небесного нерва...»	97
«В маленькой комнате, когда свеча вздыхает сгорая...»	98

ПЕРЕВОДЫ ЭДУАРДА БАЛАШОВА

Миниатюры. Форель	99
-----------------------------	----

ПЕРЕВОДЫ ВИКТОРА ДАУГМАЛИСА

Пассажи	104
-------------------	-----

ПОЭМЫ

ПЕРЕВОДЫ ЛЮДМИЛЫ АЗАРОВОЙ

Поэма о хлебе. Колос-двойчатка	114
Поэма о молоке	145

Имантс Янович Зиедонис

...ОБЕ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ...

Редактор *С. А. Еремина*
Художественный редактор *Н. С. Лаурентьева*
Технические редактор *Е. Л. Воронько, Т. В. Тужилкина*
Корректор *Т. И. Винарская*

ИБ № 6745

Сдано в набор 26.04.90. Подписано к печати 26.06.90. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага офс. № 1. Гарнитура Таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 13,44.
Уч.-изд. л. 9,63. Тираж 9500 экз. Заказ № 326. Цена 1 р. 10 к. Ордена
Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва,
ул. Воровского, 11. Тульская типография Государственного комитета
СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Зиедонис И.

3 59 ...Обе двери открыты...: Стихи, поэмы. Пер. с латыш.— М.: Советский писатель, 1990.— 256 с.

ISBN 5—265—00818—7

В книгу народного поэта Латвии Имантса Зиедониса вошли произведения, созданные им в последние годы.

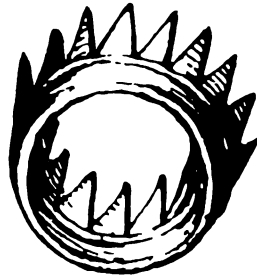
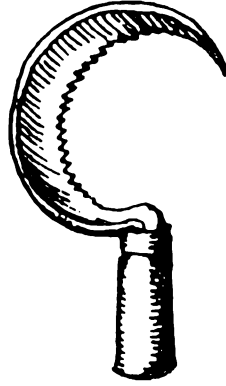
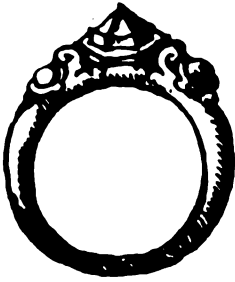
Это книга о сущности бытия, о человеке и человечности, о любви к родной земле как важнейшем критерии нравственности.

4702370202—310

3 ————— 322—89

083(02)—90

ББК 84 Лат7



1 р. 10 к.

